

Николай Брешко-Брешковский

Когда рушатся троны...



Николай Брешко-Брешковский
Когда рушатся троны...

«Public Domain»

1925

Брешко-Брешковский Н. Н.

Когда рушатся троны... / Н. Н. Брешко-Брешковский — «Public Domain», 1925

«Премьер-министр граф Видо имел два служебных кабинета. Один – у себя в министерстве иностранных дел, – он руководил не только внутренней, но и внешней политикой, – а второй во дворце. Здесь он совещался с Его Величеством, делал ему ежедневные утренние доклады. Дворцовый кабинет графа был обставлен далеко не с дворцовой роскошью. И мягкая мебель, и бронза, и портьеры, и письменный стол, ковры, – все это несвежее, как бы поблекшее, выцветшее, напоминало громадный салон первоклассной гостиницы, большую часть дня заливаемый солнцем. Внушительности не было. Ни дворцовой, ни даже министерской в великодержавном значении слова...»

Содержание

Часть первая	5
1. Шеф тайного кабинета	5
2. Все знает, все видит, все слышит	8
3. Несколько слов о королевстве Пандурия	11
4. С чистой совестью	13
5. Появление профессора Тунды	16
6. К вечной молодости...	19
7. пытки водой	22
8. Секретарь ее величества	24
9. Тайна комнаты без окон	26
10. В мастерской знаменитого художника	29
11. Катастрофа	32
12. Король и демократы	34
13. Появление Зиты	36
14. Миссия кардинала Черетти Делла Торре	39
15. Неожиданный удар	42
16. Условия Зиты	44
17. Брачная ночь	47
18. Их роман	51
19. Жребий брошен	54
20. Террорист с волчьим лбом	57
21. Кому радость, кому забота	60
22. Здесь внизу и там наверху	63
23. В сетях провокации	65
24. Перед высочайшим выходом	67
Конец ознакомительного фрагмента.	69

Николай Брешко-Брешковский

Когда рушатся троны...

Часть первая

1. Шеф тайного кабинета

Премьер-министр граф Видо имел два служебных кабинета. Один – у себя в министерстве иностранных дел, – он руководил не только внутренней, но и внешней политикой, – а второй во дворце. Здесь он совещался с Его Величеством, делал ему ежедневные утренние доклады. Дворцовый кабинет графа был обставлен далеко не с дворцовой роскошью. И мягкая мебель, и бронза, и портьеры, и письменный стол, ковры, – все это несвежее, как бы поблекшее, выцветшее, напоминало громадный салон первоклассной гостиницы, большую часть дня заливаемый солнцем. Внушительности не было. Ни дворцовой, ни даже министерской в великодержавном значении слова.

Зато внушителен был сам граф Видо, высокий, немного полный старик, с лысой, как бильярдный шар, головой. Громадная густая серебряная борода была известна на всю Европу. Половины этой бороды с избытком хватило бы покрыть густой шапкой отливающий глянец слоновой кости обширный, с высоким лбом, череп графа Видо. Но так уже подшутила природа, с незапамятных еще времен молодости сняв с семидесятишестилетнего теперь графа Видо «скальп» и наградив его бородой во всю грудь, более четверти века вдохновлявшей и своих, отечественных, и заграничных карикатуристов.

Желтые, светлые тона преобладали в кабинете, и на их фоне еще строже и резче оттенялась фигура премьер-министра, сидевшего за письменным столом в черной, солидного покроя визитке. Первое впечатление, что в кабинете одна всего дверь – большая, двухстворчатая, тяжелая, в таких же тяжелых, канареечного цвета портьерах. На самом же деле, в глубине, за креслом графа Видо, была еще другая дверь – маленькая, оклеенная такими же обоями, как и все стены, почти потайная.

Граф дважды надавил пуговку, и еще не смолкло сухое дребезжание, как бесшумно распахнулась дверца и вошел корректный, бесцветный дежурный чиновник.

– Господин Бузни приехал?

– Господин шеф тайного кабинета уже четверть часа как дожидается приема у Вашего Сиятельства...

– Просите!

Чиновник с низким поклоном исчез. Пять-шесть секунд – и в ту же самую дверь вошел начальник тайного кабинета, соединявший две должности – директора департамента полиции и заведующего охраной королевской семьи.

И от родителей своих, и от Господа Бога получил Бузни густые, великолепные, каштанового цвета волосы. Он брил их зимой и летом. Брил начисто каждые два дня, брил, как самый правоверный мусульманин. Брил, чтобы не раздражать графа богатым природным «париком» своим. У премьер-министра, полного самых прекраснейших и человеческих, и государственных качеств и добродетелей, была невинная слабость: пышноволосые люди раздражали его. А так как шеф тайного кабинета вовсе не хотел раздражать могущественного первого сановника в королевстве, то он притворялся лысым и, надо отдать справедливость, не только не в ущерб себе, своей внешности, а даже совсем напротив...

Бритая голова молодила его, придавая какую-то особенную выразительность энергичным, с твердым блеском, вечно бегающим глазам. Если бы не эти беспокойные, нервирующие собеседника глаза, шеф тайного кабинета мог бы сойти за красавца. В самом деле, для своих сорока лет он был очень, очень моложав и едва ли не юношески свеж. Правильное, бритое, удлиненное, с четкими, в меру крупными чертами лицо его алело все до того теплым, густым румянцем, что получалось впечатление театрального грима. Глаза, бегавшие на этом «загримированном» лице, казались чужими, совсем другому человеку принадлежащими. Он мог сойти и за того, кем он был, – за крупного полицейского чиновника и за выхоленного, имеющего много поклонниц, католического прелата. И, действительно, трудно было сказать, где кончался в нем опытный разведчик и начинался лукавый иезуит.

Одевался шеф политического кабинета в духе и стиле своей таинственной, довольно-таки зловещей профессии. Черный, с иголочки, элегантный костюм, темный галстук, темная перчатка на левой руке, державшей черный модный котелок.

Как всегда, граф посмотрел из-под седых бровей выцветшими глазами в живые, молодые, бегающие глаза Бузни, как всегда, плавным жестом крупной старческой руки предложил ему сесть и, как всегда, спросил из-под седой бороды и таких же седых, густых, закрывающих губы усов.

– Ну, милейший господин Бузни, что принесли нам истекшие сутки?

– Есть кое-что интересное, Ваше Сиятельство... Интересное! – повторил шеф тайного кабинета с улыбкой.

Странная улыбка. Насмешливые, с твердым блеском глаза принадлежали как бы одному человеку, а улыбающееся румяное лицо – другому.

Граф чутко насторожился. Он сразу понял, что Бузни, вместо обычного букета светских, дипломатических и городских скандалов преподнесет ему нечто совсем другое, политическое, и политическое далеко не в успокоительном смысле. Неужели? Неужели все растет революционная пропаганда?

– Проницательность Вашего Сиятельства – исключительная! Увы, это именно так! Уже на рассвете я получил от своих агентов ряд весьма неутешительных сведений... Пропганда идет полным ходом, и не только в низах, не только среди рабочих и подонков столицы, а и – это самое страшное; – в армии!..

– В армии?! – переспросил Видо, поднимая седые пучки бровей, – в армии? Позвольте!.. Вот где, казалось бы, это не должно иметь никакого успеха... Насколько я знаю, – это самые точные сведения как из генерального штаба, так и от военного министра... Наш король в армии пользуется заслуженной популярностью. Заслуженной, – говорю с полным убеждением, ибо вы сами знаете, сколько неисчерпаемой доблести проявлено было Его Величеством в минувшей войне. Те, на чьих глазах он был ранен, те, о которых он всегда заботился с такой трогательной любовью, – чтобы они изменили ему и присяге – ни за что не поверю! Слышите, я, старик, выдавший всякие виды, знающий, что человеческой подлости нет предела, я говорю вам, что распропагандировать нашу армию невозможно! – И уверенный в своих словах, однако, все же с какой-то смутной тревогой выжидал граф, что скажет ему человек с бегающими карими глазами.

Бузни ответил не сразу. Улыбался несколько секунд и, решив, что пауза достаточна, молвил мягко, по-кошачьи заискивающе:

– Ваше Сиятельство, разрешите мне высказаться?

– Конечно!

– То, что вы сейчас изволили сказать, подчеркивает лишний раз ваше собственное благородство. Да, Его Величество Адриан I, король Пандурии, был ранен; да, Его Величество, несмотря на свою молодость, отечески, именно отечески, относился и относится к своему дорогому детищу – армии. Но где солдаты – сподвижники Его Величества по минувшей войне?

Где они? Нет их! Большинство убито, погибло от ран, зачехло в плену, сгорело от сыпного тифа. Уцелевшее же меньшинство, выйдя в запас, рассосалось по деревням и селам Пандурии. Им на смену пришли молодые солдаты, еще не воевавшие и знающие о рыцарском героизме своего монарха на полях брани только понаслышке. Правда, Его Величество часто посещает и столичные, и провинциальные гарнизоны, интересуется жизнью и бытом своих солдат. Он обаятелен верхом на коне, пропуская мимо себя церемониальным маршем войска. Он обаятелен и в казарме, пробуя пищу, задавая простые сердечные вопросы и молодым рекрутам, и выслужившимся унтер-офицерам. Но... Ваше Сиятельство, только что вы сами обмолвились метким словечком, что нет конца-краю человеческой подлости. Я позволю еще добавить от себя – человеческой неблагодарности, человеческому хамству. И, как ни обаятелен король, темные проходимцы, шныряющие по казармам, делают свое преступное дело. Что нужно для этого? Немного! Купить горсть бессовестных крикунов и зарядить их всем самым подлым, самым клеветническим. Я не фантазирую. Во-первых, мы имеем опыт русской революции, а во-вторых, – донесения моих лучших, способнейших агентов. Я должен повторить услышанное от них, должен, хотя это больно мне, да и будет тяжело Вашему Сиятельству.

Граф сделал нетерпеливый жест.

Бузни, поклонившись, – сам, мол, хочешь этого, – продолжал:

– Они говорят: вот вы за своего короля, а знаете ли вы, что такое ваш король? Вы его видите конфетным офицериком, устраивающим дорогие, никому не нужные парады и маневры, а знаете ли, сколько это стоит народу, своим потом и кровью содержащему королевский дом? Знаете ли, сколько он тратит денег на своих любовниц, а королева – эта распутная пятидесятилетняя баба – на своих любовников?

Белое старческое лицо графа от негодования стало красным. Он сжал руки, захрустели пальцы.

– Мало этого, Ваше Сиятельство, – они в своих омерзительных целях не щадят даже чистую принцессу Лилиан, закидывая липкой грязью ее лучезарный облик. Они кричат, что все ее благотворительные дела придуманы для того, чтобы чаще видеться со своим горбатым секретарем – ее любовником.

– Клеветать на принцессу Лилиан? Да это прямо кощунство! Для этого надо быть гнуснейшей тварью! – воскликнул премьер-министр. – Необходимо положить этому конец! Необходимо принять меры. Но скажите мне, Бузни, от кого и на кого работают эти господа?

– Главные нити, Ваше Сиятельство, тянутся к Трансмонтании. Главные рычаги, главные пружины – там. Здесь же у нас руководит всей агитацией парочка адвокатов, Шухтан и Мусманек.

– Знаю обоих! Первый – способный прохвост! Ужасно ему хочется быть пандурским Гамбеттой. А второй – озлобленный, бесталаный неудачник. Надеюсь, вы не упускаете обоих из вашего поля зрения?

– Ваше Сиятельство, шеф тайного кабинета должен все знать, все видеть, все слышать...

2. Все знает, все видит, все слышит

– Все знать, все видеть, все слышать... – повторил граф. – В этом отношении вы, господин Бузни, прямо незаменимы!..

– Ваше Сиятельство, незаменимых людей нет, – скромно отозвался польщенный Бузни, – но каковы будут ваши директивы относительно этих двух каналов: Шухтана, метящего в наши Гамбетты, и Мусманека, мечтающего сделаться президентом «Пандурской демократической республики»?

– О, это уже слишком! В особенности Мусманек! Круглое ничтожество! В президенты!

– Революции только для того и совершаются, как это Вашему Сиятельству хорошо и без меня известно, чтобы все ничтожное, бездарное, тупое, невежественное и преступное могло достигнуть власти, жадно за нее ухватиться.

– Ну, не скажите... Я сам был молод, сам увлекался... Но у нас были идеи, мы горели священным огнем любви к ближнему, – возразил граф, как-то молодея от дрогнувшего отзвука воспоминаний. – Все это было, когда-то было, и так свежо еще, и столько дало разочарований... А теперь...

– А теперь, – подхватил Бузни, – Ваше Сиятельство считается одним из первых политических мужей в Европе. Вы мудро правите нашей страной, и вчера только я раскрыл десятое, «юбилейное» покушение на особу Вашего Сиятельства.

– Десятое? Как быстро бежит время!.. В мои годы нечего бояться покушений. У меня уже давно пропал аппетит к жизни. Да и частые покушения, переходящие в нечто хроническое, или же, как любят выражаться революционеры, – «перманентное», – теряют свое запугивающее свойство. Иногда я получаю анонимные письма: «Тиран! Твоей головы давно уже хочет народ!» И знаете, Бузни, так и подмывает ответить: «Мошенники, народ никогда ничего не хочет. Ни вашей революции, ни голов тех, кого вы называете тиранами. Он хочет быть кое-как сытым и чтобы его оставили в покое. А это вам, вам нужна революция, чтобы упиться властью, набить свои карманы и охотиться за нашими черепами, так как мы умнее и талантливее вас!» В самом деле... Да, относительно директив... Я же вам сказал – не выпускайте обоих из поля вашего зрения...

– И только? – многозначительно переспросил Бузни с быстро забегавшими глазами.

– А что же еще? Пока...

– Что же еще? Я хотя и доктор прав по своему образованию, но в душе я хирург, хирург смелый и решительный. С государственной точки зрения, полезнее для спокойствия и порядка в нашем отечестве, если и отъевшийся, жирный Шухтан, и сухой, плюгавый Мусманек исчезнут... Исчезнут раз и навсегда...

– Что вы, что вы! – заволновался граф. – Левые в парламенте поднимут такую бучу!

– Это, – если бы имело место политическое убийство. А с целью грабежа... Найден труп без часов, без бумажника. Даже самые левые болтуны и те...

– Нет, нет и нет! Я запрещаю вам даже думать об этом, – решительно заявил граф.

– Да, да, да! – не менее решительно сказал сам себе Бузни. Вслух же произнес с опущенной головой: – Как будет угодно Вашему Сиятельству, но я не отвечаю за последствия.

– За последствия отвечает премьер-министр, а не шеф тайного кабинета, – слегка обиделся граф. – Вы меня знаете. Когда пробьет решительный час, я не остановлюсь перед мерами самой железной строгости. Но пока... Пока будем держаться конституционных рамок. Относительно пропаганды в армии, – сегодня же вызову к себе военного министра... Какие еще новости?

– Ах, этот Рангя, – начал Бузни и умышленно осекся, зная, что граф Видо терпеть не может министра путей сообщения.

– Что Рангья? – насторожился граф, ожидая услышать какую-нибудь столь же пикантную, сколь и возбуждающую брезгливое чувство подробность из жизни господина Рангья.

– Представьте, какое нахальство! Через свою маленькую Зиту он дерзнул добиваться у Его Величества графского титула! За какие такие заслуги, спрашивается?..

– И что же? Его Величество отказал, отказал, несмотря на свое расположение к Зите?

– Ваше Сиятельство угадали наполовину. В графском титуле отказано было с настоящей королевской твердостью!

– Я так и знал! Так и знал! – с облегчением вырвалось у старика. – Бальтазар, покойный король, царство ему небесное, пожаловал мне графский титул. Но когда и за что? В день моего шестидесятилетия. После того, как я заключил выгодный для нас мир с Трансмонтанией. И вдруг, какой-то левантинец, недавно принявший пандурское подданство... Наглость, на которую способен только Рангья!.. Клянусь Богом, случись этот позор, я, несмотря на все мои верноподданные чувства, вернул бы сыну то, чем пожаловал меня отец. Итак, и без того носатый Рангья остался с еще большим носом?..

– Наполовину! Наполовину, как я уже докладывал Вашему Сиятельству. Маленькой Зите обещан титул баронессы... – и, заметив пробежавшую по белым чертам премьер-министра недовольную гримасу, Бузни поспешил добавить, – баронский титул, – об этом даже не стоит и говорить! Безделица! В Австрии чуть ли не каждый еврей мог купить себе баронство.

– Да, вы правы, Бузни, – согласился граф, и лицо его прояснилось... – Что же касается Его Величества, – ему трудно было отказать мадам Рангья в этой, как вы говорите, безделице! Надо только озаботиться об одном, чтобы это не попало в газеты, дабы не дать лишнего козыря Шухтану и Мусманеку. Пусть Рангья подписывается бароном, пусть закажет себе визитные карточки, пусть выдумает себе фантастический герб, но только бы не в газеты! Есть еще у вас что-нибудь?

– Ах, Ваше Сиятельство, самое пикантное я приберег напоследок. Для вас, конечно, не секрет и не новость, что почтенная супруга не менее почтенного церемониймейстера, знаменитая Мариула Панджили, крутит свой новый, неизвестно, который по счету, роман с первым секретарем испанского посольства, герцогом Альба?..

– Да, да! – усмехнулся граф, – вот уж, действительно, как говорят, черт с младенцем связался! Мариуле этой – сорок восемь, а испанцу – двадцать четыре. Ровно вдвое моложе своей любовницы...

– Ваше Сиятельство, с каждым днем разница эта будет уменьшаться в пользу маркизы Панджили.

– Вы остроумны и злы, как всегда... Но где же ваши пикантные подробности?

– Вот они! Вчера она была вместе с герцогом Альба в оперетке. Сидели в закрытой ложе и после второго акта уехали ужинать. Ну, конечно, к Рихсбахеру – всякий другой ресторан был бы для нее менее шикарен. Заняли кабинет номер 16...

– Друг мой, пока это очень банально и для Мариулы – весьма прилично. И не такие коленца выкидывала.

– Терпение, Ваше Сиятельство, терпение! – забежал карими, беспокойными глазами Бузни. – Во втором часу ночи влюбленная парочка изволила покинуть кабинет, но как вещественное доказательство на турецком диване осталась самая пикантная часть туалета супруги церемониймейстера. Прямо мечта! Пена кружев, тончайший шелк, и вся эта комбинация пропитана крепчайшими духами.

– Безобразие! Свинство! Безобразие! – повторял граф, удерживаясь, чтобы не расхохотаться. Задрожала его серебряная густая борода. – И что же, какая судьба этих... Этой мечты из пены кружев и шелка?

– О, судьба – историческая! Он попали в музей шефа тайного кабинета. Попали условно. Может быть, я возвращаю их маркизе... может быть. Это всецело будет зависеть...

– А у вас, должно быть, интересный музей?! – с усмешкой заметил граф.

– Есть чем похвастать, Ваше Сиятельство, есть чем! – улыбнулся чужими глазами на чужом лице шеф тайного кабинета.

Граф хотел еще что-то спросить, и уже шевельнулись его седые усы, закрывавшие губы, как чья-то властная рука распахнула большую массивную дверь, и в кабинет быстро вошел молодой, лет тридцати двух, гусарский генерал в зеленой, бутылочного цвета венгерке, густо расшитой белыми бранденбургами, и в сургучно-красного цвета галифе. В левой, затянутой в белую перчатку руке он держал тоненькую трость из испанского камыша, заменяющую берейторам и наездникам стек.

– Его Величество!

Премьер-министр и шеф тайного кабинета застыли в глубоком поклоне.

3. Несколько слов о королевстве Пандурия

Прежде чем углубиться в дальнейшее повествование, скажем несколько слов о королевстве Пандурия и о правящей в нем династии, древней династии Ираклидов.

В начале девятого века откуда-то из глубины Азии двинулись на Европу сотни тысяч воинственных всадников. Сухощавые, усатые, подобно скифам сросшиеся со своими конями, азиатские всадники, вооруженные кривыми саблями, луками и легкими копьями, сметали все на своем пути. А за ними шли обозы – двухколесные скрипучие арбы, влекаемые верблюдами и нагруженные всякой домашней утварью. На них восседали женщины, старухи и дети. Это многочисленное племя пандуров вел за собой вождь-завоеватель Ираклий. Некоторые называли его Иракли. Этот самый Ираклий, или Иракли, и создал просуществовавшую около тысячи лет династию Ираклидов.

Нашелся историк, который в льстивом усердии своем пытался доказать, что королевский дом правильнее было бы назвать не Ираклидами, а Гераклидами, ибо родоначальником является не кто иной, как сам Геракл, этот мифический полубог, победивший Каледонского вепря, убивший своей знаменитой палицей Немейского льва, очистивший Авгиевы конюшни и совершивший еще девять не менее славных подвигов.

Справедливость требует отметить, что брошюра слишком усердного историка была конфискована по высочайшему повелению Бальтазара I, приходившегося дедом ныне благополучно здравствующему королю Адриану.

Пандурия мало-помалу принята была в семью европейских народов, особенно с тех пор, как пандуры с языческой веры своей перешли в христианство.

Уже в эпоху средневековья Пандурия считалась могущественным и сильным воинской силой королевством. Пандуров охотно звали служить в чужеземных армиях как смелых, отважных, одинаково искусно бьющихся и в пешем, и в конном строю. Длинноволосые, мужественные, усатые, смуглые пандуры одним видом своим внушали неприятелю ужас.

Венецианцы пандурские полки свои посылали против турок, и мусульманский полумесяц бледнел, стусевывался перед крылатым львом Святого Марка, развевавшимся над железными фалангами пандуров. А много позже прусский король Фридрих Великий с особенной охотой вербовал пандуров в наемные войска свои.

После многолетних боев, кровавых приключений в далеких землях возвращались покрытые шрамами, с изрубленными лицами пандуры к себе, на свою славную родину, возвращались не с пустыми руками. Привозили меха, восточные ковры, дорогие итальянские доспехи, и у каждого был пояс, тяжелый и туго набитый русскими червонцами, оттоманскими цехинами, голландскими гульденами, австрийскими флоринами и еще другими, более редкими золотыми монетами.

А династия Ираклидов расширяла свои границы, где выгодными династическими браками, где хитроумной, полувосточной политикой своей, а где и удачными войнами.

За десять с лишним веков Ираклиды успели породниться чуть ли не со всеми дворами Запада. Кровь, азиатская кровь вождя Ираклия, успела смешаться за тысячу лет и с Бурбонами, и с Габсбургами, и с баварскими Вительсбахами. Было много браков и с потомками Рюрика, и с польскими и венгерскими королевскими семьями. Нашли себе вторую родину в пандурской столице дочери генуэзских и венецианских дождей.

В момент нашего повествования главными представителями пандурской династии были: король Адриан, вззошедший на престол двенадцать лет назад, по кончине своего отца Бальтазара II, вдовствующая королева-мать – Маргарета, изумительно сохранившаяся в свои пятьдесят лет красавица, и дочь ее – принцесса Лилиан.

Было еще несколько принцесс и принцев уже боковой линии. И те, и другие поженились и вышли замуж в других королевствах, княжествах и герцогствах и там и остались. Своим чересчур для монарха продолжительным холостячеством Адриан приводил в отчаяние не только свою мать, премьер-министра, сенат и двор, но и те коронованные семьи, где имелись невесты.

Он был бы завидным женихом и без своего положения, и без своей королевской мантии. Будь он средним гвардейским офицером в Пандурии, он обращал бы на себе внимание и ловкостью сильного, молодого спортсмена, и яркой, не шаблонной красотой, и тем обаятельным, чарующим во всем облике, что уже отмечено было графом и Дудой. Ростом Адриан был не очень высок, но далеко и не мал. Именно при таком среднем росте мужчины бывают чаще всего хорошо и пропорционально сложены. Все правильно, все в меру. Ниже – получится короткость фигуры, выше – неприятная вытянутость. Античные греки, влюбленные в пластику, чувствовали, понимали это, и вот почему Аполлон Бельведерский Ватиканского музея не высок и не мал, и так гармоничен весь. Если бы его одеть в гусарскую форму Адриана, то и расшитая белыми брандебургами венгерка и галифе как по мерке пришлись бы мраморному богу. Вот только разве в талии король пандуров был гибче и тоньше, особенно по сравнению со своими широкими плечами и выпуклой грудью. Но это объясняется тем, что Аполлон вел сидячий и даже ленивый образ жизни, лишь время от времени бряцая на лире, тогда как Адриан отлично фехтовал на рапирах и эспадронах, считался одним из лучших кавалеристов Пандурии, плавал, метко стрелял, греб, играл в теннис. Словом, искусен и опытен был чуть ли не во всех видах спорта. И это отражалось в походке его, легкой, эластичной и в то же время упругой и цепкой, как-то энергично несущей вперед мускулистое, молодое тело.

Если б кто мельком увидел его, сказал бы с первого впечатления: «Кавалерийский офицер, ловкий, стройный. А на лошади это должна быть картинка». Но, взглядевшись в лицо и в манеру нести и держать голову, наблюдатель тотчас бы угадал в этом кавалерийском офицере нечто большее, почувствовал бы какую-то исключительную, особенную породу и расу.

Во внешности Адриана было кое-что и от Габсбургов, и от Бурбонов и, – это всего удивительней, – сказалось атавистическое чудо, – еще бы не чудо: спустя тысячу лет в молодом короле Пандурии заговорил голос крови, голос крови Ираклия, славного родоначальника славной династии.

Точеный, с горбинкой, тонко прорисованный нос – наследие бабушки, принцессы Бурбонской. Алая, капризная, чуть-чуть приподнятая верхняя губа и нижняя, в меру сочная – это сказался род матери, австрийской эрцгерцогини. Но смугло-матовый цвет лица и темные глаза, большие и в то же время узкой миндалевидной формы, томные, глубокие, мерцающие, говорящие о какой-то далекой и знойной сказке – все это, облагороженное и утонченное культурой, десятками поколений, воспитанием, воскрешало невольно забытые образы диких воинственных всадников, топтавших копытами коней своих поля Европы.

Небольшие усы и черные, отливающие синевой, гладко расчесанные волосы над невысоким лбом, невысоким – это уже монгольское, откинутым назад – это уже бурбонское, – дополнили портрет Адриана.

И когда, поздоровавшись с премьер-министром и с шефом тайного кабинета, король улыбнулся приветливо и мягко, в этой улыбке, оттеняемые смуглым лицом, сверкнули белые зубы, и почудилось, что в солнечном кабинете стало еще светлее и ярче...

4. С чистой совестью

Он вообще комнат не любил, – пусть это даже обширные дворцовые апартаменты. Любил простор и воздух, ширь, и даль, и свист ветра. И здесь тысячелетний отголосок. Предкам-всадникам тесно было в Азии, и они устремились за добычей и счастьем, устремились далеко за Урал. Королю показалось душно и тесно в громадном, с пятью окнами, кабинете премьер-министра.

– О, да у вас здесь нечем дышать.

Граф позвонил. Старый, внушительный ливрейный лакей молча открыл все пять окон и так же молча удалился, мелькая высокими, до колен, песочного цвета плюшевыми гетрами.

Адриан сидел на подоконнике, обвеваемый морским осенним воздухом, сидел, похлопывая себя камышовой тросточкой по ноге. Граф Видо и шеф тайного кабинета стояли перед ним, хотя они просил их взять кресла и подсесть к нему.

– Вот так совсем иначе себя чувствуешь. А то не угодно ли, – закупились!

– Ваше Величество, в ваши годы я сам всегда спал при открытом окне, а теперь эти предательские осенние ветры...

– Осенние? – воскликнул король, – начало октября... В нашей благословенной Пандурии – еще лето. Цветут – и как пышно цветут – олеандры, апельсины, магнолии. Но что у вас нового для меня, дорогой граф?

Видо переглянулся с Бузни, как бы совещаясь: говорить или не говорить. Бузни утвердительно чуть-чуть кивнул бритой головой своей.

– Нового? – переспросил Видо, выигрывая время. – Шеф тайного кабинета информировал меня перед приходом Вашего Величества... В столице замечается не брожение, – его пока еще нет, – а антигосударственная агитация...

– Но ведь она никогда и не прекращалась, потому что никогда еще ни один режим не удовлетворял всех поголовно, – возразил король, – хотя откуда бы взяться агитации при нашей либеральной конституции и при почти отсутствующем рабочем вопросе? – сощурил он свои томные, черные, мягкие, в тени длинных ресниц, миндалевидные глаза. – Разве отрывка русского большевизма...

– Вот, вот, Ваше Величество, именно отрывка! Поветрие! Болезнь! – подхватил шеф тайного кабинета.

– Но я полагаю, и вы, дорогой граф, и вы, милейший Бузни, сумеете справиться с этой... болезнью?

– Я готов умереть на посту за свою родину и за своего короля! – с чувством ответил Видо, и король поверил его искренности.

– И я всецело присоединяюсь к Его Сиятельству! – поспешил Дуда.

Но ему король не только не поверил, а еще и подумал, следя за беспокойным беганьем его карих глаз: «Ну, голубчик, кто-кто, а уж, наверное, ты первый готов продать меня, когда найдешь это для себя выгодным». Помолчав, король тихо молвил, как бы думая вслух:

– Что же, революция... Я готов встретить ее лицом к лицу. Моя совесть чиста. Я далеко не идеал монарха, но смею утверждать, что народ свой и люблю, и знаю гораздо больше, чем какой-нибудь адвокат с ловко подвешенным языком, мечтающий занять в этом дворце мое место. Когда висела над Пандурией катастрофа... где были тогда эти адвокаты? Где?

Старый Видо расчувствовался. Глаза наполнились крупными слезами, пучки седых бровей задвигались и, порывисто схватив руку Адриана, граф припал к ней губами. Сконфуженный король освободил руку и обнял графа.

Видо бормотал сквозь старческие всхлипывания:

– Я не могу... Не могу... Его Величество на смертном одре завещал... завещал мне... «Смотри, Видо, помни!.. Адриан совсем еще мальчик, будь ему как отец»... Я, я плакал. Я, недостойный такой чести... Детей у меня нет, и все свои... всю свою отцовскую любовь... Я помню, когда вам было пять лет, вы взбирались ко мне на колени и детскими... двадцать семь лет назад моя борода была такая же седая, вы теребили ее... Нет, не могу...

– Ну, будет, будет, мой дорогой, верный Видо... Я все чувствую, все понимаю, – молвил король со своей обаятельной улыбкой, от которой становилось светлее кругом и которой он так пленял и мужчин, и детей, и женщин, – а теперь давайте о другом, более веселом. Давайте сплетничать. Бузни, наверное, принес что-нибудь новенькое из скандальной хроники столицы?

Граф Видо, успевший вытереть глаза, прояснился весь, как ребенок, быстро переходящий от слез к улыбке.

– Вы не ошиблись, Ваше Величество... Впрочем, пусть он сам...

– Рассказывайте, Бузни!

– Ваше Величество, это... это слишком фривольно...

– Так что ж! Не стесняйтесь, пожалуйста!.. Мы с вами не монастырские воспитанницы. Да и монастырские воспитанницы в наши дни могут просветить любого из моих эскадронных командиров. Итак!.. – и, забросив ногу на ногу и похлопывая камышинкой по голенищу своего гусарского сапога, король, сузив миндалевидные глаза, приготовился слушать.

И тут только спохватился Видо, что последний трюк Мариулы, лишившей Адриана невинности, когда ему было восемнадцать лет, еще неизвестно, как будет принят Его Величеством. Влажными от слез глазами Видо хотел остановить шефа тайного кабинета, но было поздно.

Бузни описал королю времяпрепровождение Мариулы и герцога Альбы, начатое в закрытой ложе оперетты и кончившееся в отдельном кабинете у Рихсбахера. Сочно смакуя, дополнил Бузни всю картину описанием забытых, надушенных *dessous*¹, являвших собой пену кружев.

Бузни имел успех, Адриан от души хохотал.

– Ах, Мариула, Мариула! Бедный Панджили! Если б у него могли расти рога, он перецеголял бы всех оленей наших пандурских лесов.

– Но меня вот что удивляет, Ваше Величество, – недоумевал шеф тайного кабинета. – Что в ней такое? Чем она берет в свои годы, со своим потрепанным лицом, со своими губами негритянки?

– И со своим так чудесно сохранившимся телом, добавьте, – подхватил король. – Мы с вами видели ее руки, плечи, шею, грудь, которые она так охотно обнажает вопреки придворному этикету, ставящему границы оголению женских прелестей. Что же касается ее губ, чувственных, развратных, то, я думаю, это скорее плюс, нежели минус в глазах таких молодых любовников, как этот юный герцог Альба. – И матовое лицо Адриана порозовело теплым румянцем. Он вспомнил свои восемнадцать лет. Вспомнил свое первое падение в опытных, грешных объятиях Мариулы. О, как целовали его эти полные выпяченные губы, и сколько острого, неизъяснимого блаженства было в прикосновениях и ласках белого, холеного тела, которое так ослепляло... Ему казалось тогда, что он безумно влюблен в маркизу Панджили, что лучше ее нет никого и ничего на свете и что, отказавшись от престолонаследия, он умчится с ней в какую-нибудь глушь, где они будут без конца наслаждаться...

Но наслаждения хватило на две-три недели, успевших иссушить молодого принца, погасить свежий румянец и обвести густой, темной синевой миндалевидные глаза. Материнское око Ее Величества Маргареты заметило кое-что, а незамеченное было подсказано кавалером Мекси, предшественником Бузни. Мариула вынуждена была уехать за границу, «для поправления здоровья», и в течение трех месяцев не показываться при дворе, без лишения, однако,

¹ Предмет женского туалета (фр.).

звания статс-дамы королевы. А престолонаследник был отправлен адъютантом во Францию для прохождения курса в военной Сен-Сирской школе.

Сейчас, четырнадцать лет спустя, были так живы, так трепетны воспоминания. И королю было приятно и стыдно вспомнить все это, и казалось, что Мариула осталась такая же неотразимо пленительная для теперешних своих любовников и для молодого испанца, какой тогда была для него.

Бузни отпущен. Король вдвоем с графом, тотчас же приступившим к тому, чем он был озабочен уже давно.

– Ваше Величество, говорю вам со свойственной мне прямоотой: так продолжаться дальше не может.

– О чем это?

– Все о том же. Прошли все сроки. Необходимо Вашему Величеству выбрать себе поскорее супругу. У монарха голос сердца должен умолкнуть перед благом народа и династии. Пандурии нужен престолонаследник, особенно же теперь, ввиду пока еще глухого, отдаленного прибоа... Теперь, когда наступают тревожные времена.

5. Появление профессора Тунды

Адриан ответил не сразу. Да и что он мог ответить на справедливый упрек верного старого Видо. Что, если действительно голос сердца не умолк у него в данном случае перед благом народа и династии. Что он мог ответить, когда и сейчас, на расстоянии, она, Зита, была такая яркая, желанная, близкая. Он видел ее, изящную, миниатюрную, всю сверкающую в сиянии золота мягких густых волос, с маленьким ртом и с белой, нежной, чуть-чуть розоватой шеей...

А ее глаза? Сколько в них переливов, оттенков. Какие они всегда? Разве можно сказать, можно определить? «Всегда» – нет для них этого слова. Они «всегда» разные. Светлые, они до жуткого становятся темными в минуты сердечней мольбы, страсти и сладостной истомы. Когда Зита спокойна, мечтательна, у нее глаза синевато-серые. А когда она в гневе, они зеленые, как изумруд, как у готовой прыгнуть на свою жертву молодой тигрицы...

И после этого Видо требует, чтобы он выбрал себе невесту. Выбор сделан, да, сделан! Если не будущей королевы, то, во всяком случае, восхитительной любовницы...

Граф угадывал, что происходит в душе короля, но упрямо, насупив седые пучки бровей, ждал ответа. И, в конце концов, услышал то же самое, что ему приходилось уже слышать раз десять, по крайней мере.

– Успеем... успеем... Как-нибудь женимся... И вы, и мама все с одним и тем же...

– Я удивляюсь только неистощимому терпению Ее Величества, – укоризненно покачав лысой головой, произнес Видо.

– Я и сам удивляюсь, – с какой-то шаловливой доверчивой улыбкой, осветившей смугловатое лицо его, воскликнул Адриан. Он обезоружил премьер-министра.

– Ах, Ваше Величество, Ваше Величество!.. Ничего с вами не поделаешь! Если б вы не были так обаятельны... Вы этим пользуетесь...

– Как испорченный мальчишка, приводящий в отчаяние солидного, уравновешенного опекуна. Да, граф, какого вы мнения о господине министре Рангя?

– Мое мнение об этом господине известно Вашему Величеству. Знает свое дело, неплохой инженер, поднял нашу железнодорожную сеть, но как человек...

– Знаю, что вы скажете. Дрянцо и едва ли не темная личность. Согласен. Я его сам терпеть не могу, но раз полезен стране, почему его не наградить?

– Баронским титулом? – ядовито подхватил граф.

– А, вы уже знаете. Ах, этот Бузни! Я уверен, Бузни мои письма читает... А что касается баронства, право, это даже не титул. Так себе, что-то переходное. Назовите мне мошенника-банкира, который, в конце концов, не купил бы себе баронства, прежде австрийского, а теперь папского? Заготовьте мне для подписи скромный, сдержанный рескрипт, придравшись, ну, хотя бы, к последней проведенной им линии, соединяющей горную Пандурию с плоскостной... И в стратегическом отношении, и еще более в...

Распахнулась дверь, заколебалась портьера, вытянулся дежурный чиновник, тот самый, который с полчаса назад открыв «почти» потайную дверцу, докладывал графу о Бузни. Теперь он доложил еще торжественнее:

– Министр изящных искусств профессор Тунда к Его королевскому Величеству...

– Как, господин министр уже здесь? Просите!..

Министр изящных искусств, знаменитый художник с европейской славой, порывистый, спешащий куда-то, нервный, взвинченный и своим вечно юношеским темпераментом, и коньяком, не вошел, а влетел в кабинет.

Ловким и цепким движением спрыгнув с подоконника, Адриан встретил маленького, с бритым, пухлым лицом и с шапкой седых курчавых волос министра изящных искусств.

Появление Тунды было сюрпризом. Несколько дней назад совет министров командировал его в отдаленную часть Пандурии последить за археологическими раскопками в одном из небольших имений короля Адриана. Там были высокие, правильной формы курганы; им около восьмисот лет. Почему же веселый, жизнерадостный Тунда не там, а в столице, и с криво повязанным галстуком, с сигарным пеплом на пиджаке, пулей врывается в кабинет, где его принимает король?.. Он так знаменит и так исключительно талантлив, – еще при покойном Бальтазаре, когда этикет был строже, чем теперь, Тунде прощалось многое – и артистический беспорядок в костюме, и развинченность манер, и привычки артиста, на всю жизнь оставшегося богемой.

На Тунду никак нельзя было рассердиться. Своим пухлым лицом, своими весело поблескивающими, нередко хмельными глазками, своим неизменным благодушием он обезоруживал всех, начиная с покойного короля Бальтазара, одним взглядом своим приводившего в трепет сановников и генералов...

– Ваше Величество, поздравляю Вас!

– С чем?

– Как с чем? Э, вы еще ничего не знаете! Да и не можете знать! Разве я примчался бы оттуда, если бы...

– Да с чем же вы меня поздравляете, дорогой профессор?

– С наследством! И еще с каким наследством!

– Откуда? К сожалению, короли не имеют американских дядюшек. С неба, что ли свалилось?

– Как раз наоборот. Ваше Величество! Из самых недр земли. Продолжая раскопки, мы наткнулись на два глиняных горшка в виде урн, примитивных, грубых, заостренных книзу. Обе наполнены старинными золотыми монетами.

– При чем же я здесь?

– Как при чем? Клад найден на вашей земле, следовательно, – ваша собственность! Не верите мне, Государь, – спросите графа Видо. Граф большой законник...

– Господин министр изящных искусств вполне прав. Клад – законная собственность Вашего Величества.

– Но все это странно так, и я себя нелепо чувствую. Менее всего хотелось бы воспользоваться этим золотом. Какая приблизительно ценность его?

– Это не по моей части, Ваше Величество, – ответил Тунда. – Я люблю тратить деньги, но не люблю их считать. А вот один из моих чиновников подсчитал приблизительную стоимость... В обеих урнах золота будет, по его словам, этак, этак миллионов на пятнадцать французских франков...

– Чудесно! – воскликнул король, – значит, я могу осуществить мое желание... Построить гигантский дом для инвалидов последних войн, где они могли бы спокойно доживать свой век... Люди, проливавшие кровь за свою родину, безногие, безрукие, нищенствующие на улице, провожаемые снисходительными взглядами, взглядами тех, кто трусливо боялся огня, прячась за их спинами, – это ужасно! Мы выберем красивую местность с хорошим климатом и немедленно приступим... Будут концертный зал, библиотека, общая столовая... Вы, милый Тунда, распишете стены батальными картинами, воспевающими доблесть и славу этих инвалидов-героев... Часть же «наследства» я отдам в распоряжение сестры для ее благотворительных целей...

– Ваше Величество, – начал Видо, – все это делает честь вашему благородному сердцу, но, – вы простите меня, старика, вмешивающегося не в свое дело, – по-моему, нельзя совершенно забывать себя. Королевский дом Пандурии никогда не был особенно богатым, а за последние годы... В будущем мало ли что... И монархи должны обеспечивать себя на черный день. К тому же цивилизный лист, урезанный парламентом, более чем скромнен...

– Мое решение твердо, – перебил Адриан, – так поступлено будет с этим кладом, как я сказал... – и сейчас это не был уже молодой красивый гусарский офицер, это был король, – так звучал его голос и такой царственной осанки исполнена была вся фигура, сильная, стройная, с гордо поднятой головой.

– Воля Вашего Величества священна, – произнес Видо, низко кланяясь и чуть-чуть разводя руками.

Профессор Тунда заморгал жиденькими ресницами и, отвернувшись, начал громко сморкаться...

6. К вечной молодости...

Боката – столица Пандурии – считалась одним из красивейших городов на юго-востоке Европы. Особенно интересен с моря вид на этот хаотический амфитеатр домов, старых католических церквей, живописных мусульманских кварталов, мечетей.

Этот каменный хаос оживлялся и расцветивался густой, сочной зеленью садов и парков. Прелесть пандурской столицы была еще и в близком сочетании Запада с Востоком. Европейские улицы – чистые, прямые, с громадами пятиэтажных домов, с трамваями, автомобилями, шумными кафе, зеркальными витринами магазинов, с нарядной толпой, – и в какой-нибудь сотне шагов мусульманский квартал с базарной площадью, где под сенью густых платанов горбоносые пергаментные люди сладко дремлют, пьют из маленьких чашек густой кофе и втягивают из длинных бисерных змеевидных чубуков ароматный дым, проходящий сквозь булькающую в стеклянном резервуаре воду. Здесь все патриархально. Вместо каменных громад – белые домики под черепичной крышей. Ровный асфальт заменен кривой булыжной мостовой, а вместо грохочущих трамваев и гудящих автомобилей – ушастые, многотерпеливые ослики, нагруженные фруктами, овощами, мехами с водой и всякой всячиной, до мусора включительно. И кладбища здесь мусульманские. Над гранитом и мрамором стоячих плит высоко поднимаются стройные игольчатые темно-зеленые кипарисы. Женщины закрывают нижнюю часть лица и ведут гаремную жизнь.

Далеко с моря виден королевский дворец. Его никак нельзя назвать красивейшим зданием в городе. Есть особняки – последнее слово комфорта и нового павильонного стиля. Есть небольшие частные дворцы, сохранившие серый, благородный налет времени и архитектурную прелесть минувших, отдаленных от нас веками, эпох.

Королевский дворец, – нечто переходное, среднее между обоими типами только что упомянутых зданий. Ни легкости павильонного стиля, ни монументальных пропорций, обвеянных тонким вкусом старины. Ни того, ни другого, а просто большой трехэтажный дом кирпично-красного цвета, обнесенный такой же кирпично-красной каменной стеной в два человеческих роста. Над крышей на длинном шесте – красно-желто-черный пандурский флаг. Самое внушительное – фронтон подъезда, тяжелые портики, подпираемые массивными квадратными колоннами, тоже кирпично-красного цвета.

К этим портикам съезжались чужеземные государи, съезжались министры для совещаний под председательством короля. Съезжались иностранные дипломаты и гости в дни парадных обедов и придворных балов.

Слева и справа – более скромные, маленькие подъезды. Один вел в апартаменты короля и сестры его Лилиан, разделенные площадкой, другой – в помещение королевы-матери.

Маргарете исполнится со дня на день пятьдесят лет, но никто не даст ей и тридцати пяти, – так она изумительно сохранилась. И не только сохранилась, но и сумела себя сохранить. Болтали разное. Что ежедневно королева принимала ванны из молока ослицы, подобно Поппее, дабы сохранить вечную молодость. Что дважды в год она ездила в Париж, где какой-то маг и чародей покрывает ее лицо пленкой кроличьих желудков, и, таким образом, на старой увядшей коже вырастает новая, свежая. Для этого надо около месяца лежать в темной комнате с забинтованным лицом.

И болтали подобный вздор не только в низах столицы, но и люди общества, дамы, если и не совсем свои в королевском дворце, то, во всяком случае, бывшие на общих официальных приемах.

Секрета молодости королевы никто не мог знать лучше ее любимой, преданной камеристки Поломбы, бессменно состоявшей при своей госпоже в течение нескольких лет.

Веселая, глазастая, пышно-румяная Поломба – единственное существо, перед которым превращалась королева Маргарета в женщину, и только в женщину. А между тем даже в общении с Адрианом и с Лилиан, – с детьми, – Маргарета почти никогда не становилась обыкновенной матерью, а всегда была королевой, пожалуй, королевой-матерью. И это при несомненной любви и к Лилиан, и к Адриану. Что дети, что сын и дочь? Даже наедине со своим любовником, личным секретарем своим, южным, хищного типа красавцем ди Пинелли, даже в его объятиях она не переставала чувствовать себя королевой.

И сам ди Пинелли никогда, ни на одну минуту, не забывал, что ласкает и целует королеву. Даже в моменты самого острого, безумного наслаждения бедный ди Пинелли не смел, не повиновались губы, сказать своей любовнице «ты».

Дабы опровергнуть сплетни о кроличьих желудках и о ваннах из молока ослицы, мы подробно опишем действительные ухищрения, помогавшие королеве бороться, и так успешно бороться, с призраком надвигающейся старости.

Очень поздно королева не засиживалась почти никогда, – бессонные ночи губят красоту и свежесть. Увядает лицо, шея, появляются морщины возле висков и глаз. Вот почему балы в иностранных посольствах назначались рано, в девять вечера, чтобы к полуночи вдовствующая королева могла отбыть к себе во дворец.

Обыкновенно же, когда не было ни выездов, ни приемов, Маргарета с десяти часов запиралась вместе с камеристкой на своей частной половине.

В глубине обширной спальни под балдахин стояла на возвышении широкая белая золоченая людовиковская кровать. К спальне примыкали две уборные – малая и большая. Последуем за королевой и Поломбой в первую. Раздетая проворными руками бойкой Поломбы, Маргарета, в капоте, садится против туалетного зеркала, отражающего ее густые, пепельные волосы и тонкие, красивые, породистые черты.

А Поломба уже приготовила несколько банок разных мазей и кремов. Смешивая их, как художник делает это с красками, Маргарета густо покрывала лицо жирным слоем косметиков. Эти втирания, заменяющие собой и массаж, продолжались минут двадцать. У Поломбы уже готова паровая ванна – целое металлическое сооружение с горизонтальной трубой, как у граммофона. Включается электрический ток. Ванна, содрогаясь, гудит. Королева подсаживается к ней, держа лицо у самого отверстия трубы, дышащего горячим и влажным паром. И чем пар горячее, тем лучше, полезней. Эта процедура, требующая немалой физической выносливости, – говорят же французы: *pour être belle, il faut souffrir*², – длилась тоже минут двадцать. И всегда визжала Поломба, с веселым, плутовским видом втягивая голову в плечи и прижимая острые локти к бокам:

– Ваше Величество, открывайте глаза! Открывайте глаза, а то не будут блестеть!

Королева, вообще стойчески переносившая боль и обжигающую лицо горячую тягу пара, нуждалась в этих поощрительных выкриках Поломбы, так как чему-чему, а глазам особенно доставалось.

А держать их закрытыми, – не будут на другой день блестеть блеском вечной, возбуждающей у одних зависть, у других восхищение, молодости... Поломба выключала ток. Гудящий аппарат умолкал. Поломба, взяв нагретое полотенце, не вытирала им лоснящееся лицо Маргареты, а сушила медленным, постепенным накладыванием. И после каждой такой «сушки» черты королевы становились свежее и готовые там и сям прорезать их морщинки разглаживались.

Три-четыре раза в месяц Маргарета слегка втирала еще в теплые поры лица лимонный сок, обыкновенно же лицо смазывалось американским вазелином, и королева так и ложилась в постель, и подушки ее всегда были жирные, впитывая в себя за ночь вазелин. Однако это еще

² Чтобы быть красивой, надо страдать (фр.).

не все. Прежде чем покинуть уборную, Поломба массировала своей госпоже руки, натягивая потом на них особенные перчатки, пропитанные снадобьем, смягчающим кожу, придающим атласистую нежность пальцам, красоту и упругость ногтям.

В семь утра, зимой и летом, всегда – пробуждение. Поломба заставляла свою госпожу с открытыми глазами, потягивающуюся под одеялом. Королева спала совсем нагая.

7. Питки водой

Поломба являлась не с пустыми руками. В небольшом тазу, наполненном борной кислотой, – два довольно больших жгута из ваты, пропитавшихся влагой и поэтому тяжелых. Поломба накладывала эти жгуты на глаза королевы, и королева минут десять лежала так, выбирая пальцами легкую дробь по белым жгутам, как если бы это были клавиши. Снималась с глаз мокрая вата, подавался длинный, широкий смирнский купальный халат, а пепельные волосы исчезали под красивым резиновым чепчиком. Утренний туалет начинался в большой уборной – сплошь из мрамора. Стены, ванна, пол, души – все мраморное, сверкающее металлическими кранами. Ничего лишнего, просто и даже строго, как в гидропатической лечебнице. Да это и была для Маргареты лечебница, из которой она выходила обновленная, бодрая, с быстро бегущей по жилам горячей кровью...

Здесь, в большой уборной, Поломба уступала первую роль высокой, мускулистой, с неподвижным лицом шведке. Обернувшись к стене, держась за никелированный прут, королева предоставляла шведке свою, в прямом и переносном смысле, царственную спину, гибкую, немного полную, но без всяких признаков ожирения. Спина переходила в плавные линии чуть-чуть розовеющих бедер, а дальше, – дальше стройные белые ноги в нежно-голубеньких жилках.

Шведка, взяв гуттаперчевый длинный рукав, оканчивавшийся тяжелым никелированным хоботом, выпускала сперва на пол струю воды, для пробы. И всякий раз Поломбу охватывало какое-то детское волнение... Шведка верными твердыми пальцами, как орудие, наводила этот хобот на ослепительный затылок, розовеющий в отблесках красного чепчика. Толчок... Такой сильный толчок горячей густой струи, что королева, невольно подавшись вперед великолепным торсом своим, крепче охватывала металлический прут. Это было только начало. Медленно опускался рукав от затылка все ниже, ниже, вдоль спины. Струя все холоднее, холоднее, и вместе с этим усиливалась ее упругость, способная свалить с ног средней силы человека. И под конец у королевы бывало ощущение, что ее засыпают всю мельчайшей ледяной дробью и что дальше уж никак не выдержать напора этой беспощадной холодной воды. Королева вскрикивала. И вот тут-то бывал каждый день повторявшийся для Поломбы праздник. Втянув голову в плечи, прижав локти к бокам, тряся кулаками, с пронзительным визгом, бросалась она вперед, чтобы заглянуть королеве в лицо, чтобы увидеть на нем отражение этих пыток, пыток водой, которым подвергала ее неумолимая, суровая, с окаменевшим лицом шведка.

Маленький антракт. Королева, повернувшись к своей мучительнице, подставляет ей и свои точеные, покатые, эластично закругленные плечи, и свою, в меру полную, упругую, с твердыми розовеющими сосками грудь, и свой отлично сохранившийся живот. Никто не сказал бы, что она дважды была матерью. Королева принимала одну и ту же позу, весьма к ней идущую. Ровная, прямая, сомкнувшая обутые в сандалии ноги, соединив руки на затылке, она держала их локтями врозь. Получалась фигура удивительно гармоническая простой скульптурной гармоничностью своей.

Новые пытки. Новая боль от мощной струи: то горячей, то ледяной. Захватывает дух. Визгивает Поломба. Кончив одно дело, шведка приступает к другому. Тут же, на узкой, покрытой белой мохнатой простыней кушетке, стальными пальцами своими массирует она королеву, после чего растирает ее всю докрасна жесткой волосяной перчаткой, смачивая в тарелке, наполненной душистой эссенцией.

А дальше – безмолвно исчезает шведка. Королева, чувствуя себя восемнадцатилетней девушкой, переходит в малую уборную. Здесь она пудрит лицо фиолетовой пудрой, кладущей нежный, почти естественный румянец, слегка, чуть-чуть, подкрашивает губы, подводит брови и, едва тронув чем-то розоватым тонкие ноздри, отдает свои ноги и свои волосы в распоряжение Поломбы.

У Поломбы, открытой, наивной, не было и тени подхалимства. Она искренно любила свою королеву и столь же искренно фамильярничала с ней... Это выходило иногда грубовато, но никогда не было ни нахальным, ни навязчивым, ни противным.

В течение восьми лет Поломба не переставала восхищаться:

– Ах, Ваше Величество, какое у вас тело! Какое тело! Смотришь – не налюбуйешься! Какая грудь! Ноги! А спина, – и весело-весело поблескивали живые, шельмовские глаза, и румяное лицо расплывалось в улыбке.

– Ты находишь? – снисходительно улыбалась в ответ, королева. – А по-моему, эта белая негритянка Мариула гораздо лучше сложена. Моя фигура тяжелей. У Мариулы больше гибкости, я хотела бы иметь ее длинные ноги, ее небольшую грудь. Такие женщины – стильные!..

– Тоже сравнение! – фыркала Поломба. – А что длинные ноги у этой Панджили, – у цапли еще длиннее.

– Ты ничего не понимаешь. У тебя дурной вкус. У нее ноги Дианы. Эти ноги сводят с ума мужчин, хотя она некрасива со своим вздернутым носом и вывороченными губами. Ты знаешь, кто была Диана?

– Знаю. Богиня, которая охотилась на оленей с борзыми собаками. Я на картинке видела...

– Вот как! Моя Поломба смыслит кое-что в мифологии...

Иногда королева противопоставляла себе вместо Мариулы Панджили – Зиту Рангя.

– Вот у кого точеная фигура. Живая статуэтка. А такой нежной, молочно-розоватой кожи я не встречала ни у одной женщины. Она вся изящна, вся!.. Я понимаю увлечение сына. И ко всему – аромат и какая-то звенящая упругость молодости... Зите всего двадцать четыре года... двадцать четыре года, – мечтательно, с легким вздохом повторяла королева.

А Поломба упрямо твердила:

– Им, Ваше Величество, далеко до вас! Переберите всех придворных дам, ни одна не может соперничать с вами.

– Я предпочла бы, моя Поломба, чтобы вместо тебя так говорили мужчины.

– И говорят! Говорят! Что вы думаете! – с жаром подхватила Поломба.

– Кто ж говорит?

– Все! Ну решительно все! Даже Тунда!

– Тунда?.. Тунда – большой художник. Его мнением нельзя не дорожить. Так что ж он говорит?

– Он говорит... Знаете, Ваше Величество, раз он писал в белом зале портрет короля Адриана. Король куда-то ушел после этого... ну... сеанса, а Тунда еще вырисовывал что-то, кажется, мундир... Ну и, как всегда, перед ним был коньяк.

– Милый Тунда, он «черпал вдохновение»... Дальше...

– Дальше, – я проходила мимо... Никого не было больше... Тунда, с сигарой в зубах, перехватил меня... «Куда спешишь, плутовка, не пущу тебя»... Потрепал меня по щеке и сунул за корсаж золотую монету. «Откуда, плутовка?» – «От Ее Величества». – «А как поживает Ее Величество?» – Великолепно, говорю, поживает... А он смотрит на меня... уже немного навеселе, и говорит: «Если бы она не была королевой, я написал бы с нее Венеру, выходящую из пены морской... Какая это была бы Венера!» И, знаете, Ваше Величество, даже глаза под лоб закатил...

– Что ж, не будь я королевой, с удовольствием позировала бы Тунде для его Венеры, – молвила Маргарета, – и все на выставке любовались бы. Но я королева, и мною любитесь только одна Поломба...

– А ди Пинелли? – чуть было не сорвалось у камеристки, но она вовремя прикусила язык, зная, что и для нее существуют границы, переступать каковые не рекомендуется...

8. Секретарь ее величества

Грехом было бы сказать, что королева Маргарета вся отдалась целиком поддержанию своей неблекнувшей красоты и неувядаемой молодости. На это уходило вечером около часу, утром приблизительно столько же, – в общем приблизительно два часа. Все же остальное время она читала, принимала живейшее участие в государственных делах, а ее дипломатический ум и такт ценился далеко за пределами Пандурии.

Корреспонденты французских, английских, американских газет, избравшие себе специальностью интервьюирование высочайших и коронованных особ, разносили по всему свету про удивительную начитанность королевы пандуров, про ее тонкое знание литературы, про ее любовь к живописи, про изящную скромность ее туалетов. Действительно, трудно было представить что-нибудь более скромное. Почти всегда темное, гладкое, без всяких украшений платье, великолепно охватывающее дивную фигуру. Никаких драгоценностей, ничего, за исключением жемчужной нитки на шее.

Это – в обычной, повседневной жизни. Но в моменты парадных, торжественных выходов в тронном зале, в горностаях и в короне, с голубой лентой и звездой на груди, королева поражала царственным величием, великолепием своим, поражала и тех даже, для кого зрелище это далеко не было новым. Совсем другой, но одинаково чарующей волшебницей была она верхом на коне, одетая в белый уланский мундир, и в кивере с белым султаном, когда производила смотр шефским гвардейским уланам своего имени. Старые, много выдавшие на своем веку царедворцы сравнивали Маргарету в смысле чудесной посадки и особенного умения носить амазонку с единственной женщиной в Европе, да и то давным-давно угасшей, – Елизаветой Австрийской.

При жизни короля Бальтазара у Маргареты не было ни одного романа. Самая злая сплетня, даже и та не могла указать любовника, молодой красавицы-королевы. Не изменяла мужу Маргарета не из любви к нему, – нет, брак этот был не по чувству, скорее политический брак, – а из гордости. И хотя муж – суровый солдат, солдат с головы до ног, не внушал ей ничего, кроме холодного уважения, именно, быть может, в силу этого самого уважения, не допускала она и мысли, чтобы дерзнул кто-нибудь назвать короля «Его Величеством-рогоносцем».

А велик был соблазн. Каждый гвардейский офицер, каждый молодой человек из общества, принятый при Дворе, был влюблен в свою королеву. У многих влюбленность эта переходила в обожание. И были среди этих обожателей писанные красавцы. Подданными королевства, кроме господствующих пандуров, высоких, мужественных, были еще сухощавые, пергаментные мусульмане, изящные итальянцы и белокурые, богатырского сложения славяне. Цвет молодежи всех этих четырех племен служил в гвардии, занимал гражданские места в привилегированных канцеляриях, и, пожелай Маргарета изменить своему вечно занятому реорганизацией армии супругу, было бы на ком остановить свой выбор.

Но жена цезаря должна быть выше всяких подозрений, и на всех своих явных и тайных воздыхателей она производила впечатление мраморной красавицы, не знающей, что такое страсть, что такое темперамент.

А между тем и страсти, и темперамента, и даже просто здоровой чувственности, – всего этого много было у королевы. Но было у нее еще более умения владеть собой, дисциплинировать и призывать к порядку голос бунтующей молодой крови.

Когда же Бальтазар, простудившись и схватив воспаление легких на горных зимних маневрах, скончался и был погребен с пышными, подобающими почестями, под девяносто девять выстрелов береговых батарей, королева Маргарета почувствовала себя раскрепощенной. Жены цезаря нет больше, – есть вдова цезаря. Она может позволить себе то, чего не могла

позволить раньше, конечно, в железных рамках самой строгой тайны. Жажда любви, знойных, сжигающих тело и душу наслаждений охватила тридцатисемилетнюю красавицу. Выбор пал на чиновника министерства Двора, итальянца ди Пинелли. Он был моложе королевы на четырнадцать лет. В его южной красоте было много хищного, чувственного, сводящего с ума самых добродетельных женщин. И ко всему этому он обожал королеву, обожал еще юным студентом, имея богатейшую коллекцию ее фотографий: и в горностаевой мантии, и в уланском мундире, и в темном гладком платье, и в бальном туалете с обнаженными плечами и с пышным длинным треном, что, как живой, повиновался легкому движению ног.

Королева родилась политиком. Далеко неспроста приблизила она к себе ди Пинелли. Сперва узнала о нем всю подноготную. Узнала, что он не болтун и хорошо воспитан не только в смысле внешнего лоска, но и житейских принципов. В духовном и моральном отношении – джентльмен. Узнала, что он никогда не болел тем, чем болеет девяносто процентов молодежи. А о том, что ди Пинелли боготворит ее, об этом и узнавать не было никакой нужды, – это она отлично сама знала. Оставалось одно – приблизить его к себе, так приблизить, чтобы их ежедневные официальные встречи были неизбежными...

Личный секретарь королевы, почтенный пожилой кавалер Кнор, сам попросился на покой и вышел в отставку с полной пенсией и орденом Ираклия первой степени. Министр Двора настойчиво рекомендовал Маргарете в личные секретари своего чиновника ди Пинелли. И вышло вполне естественно, как будто иначе и не могло быть, что в небольшом кабинете, рядом с приемным залом королевы, в этом самом кабинете, где в течение шестнадцати лет ежедневно просиживал от десяти до трех кавалер Кнор, спустя год после кончины короля Бальтазара водворился кавалер ди Пинелли.

Однажды королева пригласила его пить кофе в свой интимный маленький голубой будуар, где не бывал никогда никто из посторонних и где висели две небольшие картины Ватто. Кофе подан был опустившей свои плутовские глаза Поломбой, тотчас же исчезнувшей.

Говорили об искусстве, вернее, говорила одна королева. Секретарь молчал, ни жив, ни мертв, поднося дрожащими пальцами к ярко-чувственным губам своим крохотную чашечку с густым, горячим, ароматным кофе.

– Вы любите Ватто? – спросила Маргарета. – Я почти не знаю художника с такой чарующей нежной блеклостью, именно блеклостью красок...

Ди Пинелли поспешил согласиться. Он готов был согласиться на смертный приговор себе, произнесенный устами своего божества.

Королева от живописи перешла к скульптуре.

– Я не люблю драпировок и одежд в скульптуре. Я люблю за то греческих ваятелей, что они богов и богинь своих изображают нагими. Красивая нагота уже сама по себе нечто божественное. И если смертные хотят приблизиться к богам в своих любовных успехах, – никаких прикрытий, никаких одежд, отсылающих отдельным кабинетом и мещанством. Но я не выношу босых ног. Не выношу! Музейных Аполлонов, Диан и Венер мне всегда непременно хотелось обуть в сандалии или в котурны. Хотя... В мраморе и в бронзе еще можно кое-как примириться, но у живых людей – это совсем отвратительно, – и по тонким чертам Маргареты скользнула легкая брезгливая гримаса.

9. Тайна комнаты без окон

Казалось, королева совсем забыла об эстетической беседе в голубом будуаре. Относилась к ди Пинелли как к своему секретарю, не более. Каждое утро он получал обширную корреспонденцию, кипу иностранных газет, и, бегло ознакомившись и с тем, и с другим, докладывал Маргарете о самом важном, существенном, достойном внимания.

Королева диктовала ему ответные письма и на пандурском языке, и на нескольких иностранных. Да и не только письма. Диктовала заметки, целые статьи для напечатания в заграничной прессе.

Ди Пинелли оказался редким – нахвалиться нельзя было – секретарем, но душа его полна была вся отчаянием. Он терзался. Теперь, когда он так близок к своему божеству, он в то же время так бесконечно далек от него, как если бы они находились на разных планетах. Голубой будуар чудился ему волшебным сном, который никогда, никогда не повторится больше...

Он был близок уже к самому безысходному горю, и вдруг – опять голубой будуар, опять кофе, на этот раз с ликерами и с другой темой, нежели искусство. Королева интересовалась его семьей, интересовалась тепло, душевно, насколько вообще могла быть душевной и теплой. Фамилия секретаря ей далеко не чужда. Ди Пинелли известны в королевстве, но кто была его мать, была, потому что, по его же словам, ее нет в живых?

– Моя покойная матушка – славянка из рода Матачич.

– А, славянка! Этим объясняется ваша способность глубоко переживать, чувствовать. Итальянский темперамент отца и славянская душа матери – это... это очень интересно и... красиво, – добавила как бы про себя Маргарета.

Потом она спросила его, щуря свои светлые, молодые, блестящие после паровой ванны глаза:

– А скажите, вы любили уже?... Захватывающе, сильно, отдавая целиком всего себя?

– Любил и люблю... – не сразу ответил он, ответил чуть слышно, не смея поднять глаз.

На лице ее дрогнула тень, дрогнула, мгновенно исчезнув.

– Что же, она была достойная вас... особа? Вы были счастливы? – продолжала она с внешним безразличием.

– Достояна ли меня? О, Ваше Величество, я прах и человеческая пыль в сравнении не только с ней, а с ее мизинцем. Что же до счастья – одна лишь смутная надежда на взаимность свела бы меня с ума от блаженства.

– Вот как!.. Право, такой очаровательнице можно позавидовать, – молвила каким-то странным голосом королева, и сухая, надменная линия габсбургских губ ее стала еще надменнее. – Кто же она, эта волшебница? Имени я не спрашиваю, конечно... Опишите ее.

– Описать? Не знаю, хватит ли красок. У нее дивные пепельные волосы, она сложена, как богиня... она... – Тут нервы молодого секретаря не выдержали, и он осекся, вот-вот готовый разрыдаться.

Награда ему – нежный, томный взгляд. Королева Маргарета никогда еще ни на кого не глядела так томно за все тридцать восемь лет своей жизни. Миг – и это мягкое, нежное, исходящее из собственной души и проникающее в чужую душу, сменилось обычным твердым, холодным блеском.

– Кавалер ди Пинелли, пейте ваш ликер. Он густ, маслянист, переливается, как жидкий рубин, и, право же, стоит попробовать.

Ликер, действительно превосходный, показался ему расплавленным свинцом, который лили в горло еретикам отцы святой инквизиции. Да и в самом деле, разве не был он сейчас жертвой терзающих если не тело, то душу инквизиционных пыток? За что, за что эти нестер-

пимые муки? Переходы эти от надежды к отчаянию и, наоборот, от отчаяния к надежде? Эта жестокая игра женщины, знающей силу и своих чар, и своей безграничной власти над ним?

Прошло еще несколько дней, таких будничных, деловых. Просмотр иностранных газет, писем, диктуемые ответы, – все в строго официальных рамках. Он похудел, он клялся, что идет во дворец в последний раз и, бессильный бороться со своей неразделенной страстью, разmozжит себе череп...

И вновь неожиданно-негаданно, уже в третий раз – голубой будуар... Был гаснущий осенний вечер, и хотя осень в этом краю благодатная, теплая, но горел камин, и было тепло, как в оранжерее. Не успел он войти, чьи-то руки, охватив его шею, привлекли к себе и, опьяненный этим прикосновением, знакомым ароматом духов и близостью упругой и теплой груди под гладким простым темным платьем, груди, касавшейся его груди, он с мучительным блаженством ощутил на губах поцелуй... Поцелуй королевы... И хотя этот поцелуй дал ему такое острое, нечеловеческое напряжение, за которое он готов был заплатить жизнью, чувственность, пылкая чувственность итальянца, до этой вожаделенной минуты загнанная в клетку, как дикий зверь, уступила свое место, – славянская кровь матери, – молитвенному благоговению. Он как-то соскользнул весь вниз, вдоль прекрасного, трепещущего желанием тела Маргареты и, упав на колени, в священном экстазе коснулся губами подола ее платья, пахнувшего теми же самыми духами, и ее телом, и еще каким-то неуловимо дорогим, уютным запахом любимой женщины.

А дальше, дальше совсем не помнил, как она его подняла с колен, смутно помнил, как они сидели вдвоем на узеньком диване, прижавшись друг к другу. В мягких сумерках пылающий камин дышал им в лицо сухим жаром. Смутно помнил что-то похожее у себя на легкий нервный припадок, окончившийся какой-то детской, покорной истомой и, если и не детскими, то, во всяком случае, обильными слезами... И, как сквозь сон, ощущал прикосновение чуждых, мягких пальцев. Они нежно успокаивали и вместе с тем обещали. Гладили его лоб, лицо, волосы. И это все тихо, тихо, – без слов. Они сейчас не нужны были, такие бледные, слабые в сравнении с тем, что безмолвно говорила и пела душа...

А когда он выплакался и, не вздрагивая больше, затих, эта же самая рука с мягкой властью потянула его за собой. Он шел, пьяный нечеловеческим счастьем своим, шел, не замечая на пути мебели, наталкиваясь на нее. И когда ему казалось, что перед ним сплошная стена, а он на нее наткнется, вдруг в этой самой стене, точно в сказке, открылась маленькая незаметная дверь.

Принимать любовника в спальне королева считала вульгарным и не снизошла бы до этого никогда. Вот почему перед секретарем Ее Величества открылась маленькая потайная дверь. Она ввела его в квадратную небольшую комнату, сплошь в драпировках и без окон, освещаемую электричеством, в мягких, цветных полутонах и с широким низким восточным диваном посредине. К этой комнате примыкала крохотная уборная. Комната, где раньше складывались чемоданы и дорожные сундуки, превращена была в уютное затерянное гнездышко. Только одна Полomba посвящена была в новое назначена комнаты без окон и с широкой оттоманкой. Но Полomba умела молчать. Заботливой рукой сервирован был столик с шампанским, конфетами, вазой фруктов. Но еще большая была проявлена заботливость в широком, очень широком халате, шелковом на черной подкладке, брошенном на диван, и в бело-розоватых, как человеческая кожа, мягких котурнах, стоявших на ковре.

Смягченная голубоватым матерчатым абажуром лампочка создавала призрачный свет, какое-то призрачное настроение. Лица королевы и ее секретаря чудились голубоватыми.

И когда начали пить шампанское, холодное, бодрящее, так легко и ярко возбуждающее, и начали есть шоколадные конфеты и груши, как ни был захвачен счастьем своим темпераментный итальянец со славянской душой, от него все же не ускользнуло, что гордая, неприступная Маргарета, под впечатлением новых поцелуев и вина, превращается в вакханку.

Да и раньше в ней под этим холодным великолепием жила вакханка, жила вместе с королевой, но королева подавляла вакханку, подчиняла ее сильной воле своей до тех пор, пока считала это необходимым. И вот в тридцать семь лет, когда минула вторая, вернее, третья молодость, она с ужасом спохватилась: еще каких-нибудь десять лет, и все будет кончено. Увянет сначала лицо, увянет вслед за ним и тело, могущее более сопротивляться времени, и конец – осень, безотрадная осень с завыванием холодного ветра, гонящего скрюченные, пожелтевшие листья...

Так для чего ж, так зачем берегла и тщательно холила и сохраняла она себя, обжигая лицо паровыми ваннами и перенося ежедневные пытки водой? И тем ужасней, тем трагичней это все, что множество самых красивых, самых видных, самых элегантных мужчин всегда и неустанно желали ее и желали мучительно... Желали, не подозревая, что под этим гладким, темным, почти монашеским платьем ответным желанием трепещет прекрасное тело вакханки...

Судьбе угодно было, в конце концов, чтобы пал ее выбор на самого пламенного, самого романтического поклонника. И вот они вдвоем пьют искрящееся вино, пьют из узких длинных бокалов, пьют из уст друг друга, и замороженное шампанское кажется им раскаленной лавой, огнем, зажигающим кровь, зажигающим все тело, все существо... И вдруг резким движением она поднялась. Его сердце перестало биться. Он подумал, что она уходит, уходит, совсем, отравив его смертельным ядом и обрекая его на новые страдания, еще более мучительные, чем предыдущие.

Тихое, как шелест:

– Тебе жарко в этом... Жди меня, я приду... жди... – и, легонько тронув его за борт черной визитки и бросив скользкий взгляд на широкий японский халат и на котурны телесного цвета, Маргарета исчезла.

Он понял все, понял ее «ты». Понял, что ей таким же самым «ты» он никогда не ответит. Никогда. Ее же «ты» особенное, деспотическое, – «ты» какой-нибудь древнеегипетской или вавилонской царицы, приблизившей к себе молодого всадника из фаланги дворцового конвоя. И понял он, что ему надо раздеться донага и облечь свое молодое тело в этот освежающий прикосновением холодного шелка халат...

Он вспомнил их первую беседу об искусстве в голубом будуаре, вспомнил, что любовный пир богов – это пир наготы, но и вспомнил также, что и боги должны быть обуты в сандалии или котурны. И когда, запахнувшись в халат, в который можно было бы запахнуться вдвоем, он ждал изнемогающий, неутоленный, бесшумно открылась и закрылась маленькая дверца. Он увидел свою королеву в таком же, как и он, халате. Увидел сверкнувшую руку из откидного широкого рукава. Пальцы тронули выключатель, и мягкий голубоватый свет мгновенно сменился густыми потемками.

Она подошла к нему. Еще не было прикосновения, и он уже чувствовал ее, чувствовал какое-то неотразимое, влекущее, притягивающее тело... У него подгибались колени. Она толкнула его; еще толчок и еще, заставивший подойти вплотную к дивану и опуститься на него правым плечом. Он ничего не видел, но слышал едва уловимое шуршание медленно спадающего на ковер шелка. И вслед за этим почувствовал рядом с собой тело своей богини. Она прижалась к нему, ласкающая и требующая ласк, упругая и нежная, сводящая с ума. Он запахнул ее в свой халат, и они стали еще ближе, теснее, а две руки двумя гибкими лианами крепко и судорожно обвились вокруг него. И вспыхнули какие-то горячие молнии, подхватили их, закружили в своем огненном вихре, и трудно сказать, где начиналось неизъяснимое, острое наслаждение и кончалось такое же острое, неизъяснимое страдание...

10. В мастерской знаменитого художника

Профессор Тунда был крупным талантом, весьма и весьма многогранным. С одинаковой легкостью, с одинаковым блеском, с одинаковой изумительной яркостью волшебных красок своих писал он и эффектные великосветские портреты, и пейзажи, и картины – батальные, исторические, жанровые, и в то же время почти не знал себе соперников в области декоративной живописи.

Если бы он не так любил женщин, вино, игру и вообще веселую кипучую жизнь, он творил бы гораздо больше и, пожалуй, творчество его было бы серьезнее и глубже. Но этого маленького подвижного человека с густой шапкой выющихся пепельно-седых волос надо брать таким, каким он был. И, кто знает, если б от профессора Тунды отнять его увлечение прекрасным полом, у которого он имел успех, несмотря на свой более чем почтенный возраст, если б отнять у него дорогие сигары, коньяк, азартные игры, – почем знать, может быть, лишившись всех этих возбуждающих удовольствий, он утратил бы и свою богатую, неистощимую фантазию, а его яркие краски побледнели бы...

Ранним утром в своей студии, такой же, как он, хаотической, где музейные драпировки и дворцовые гобелены покрывались пылью, не обмахиваемые ничьей заботливой рукой, Тунда, с неизменной сигарой в зубах, в бархатной куртке и в бархатном берете, напевая мотив из «Сильвы», рылся в углу среди потускневших золоченых рам, подыскивая резную овальную старинную рамочку для небольшого, почти миниатюрного, овального портрета баронессы Зиты Рангя, заказанного ему королем.

Звонок. Ленивый, распушенный своим добрым и мягким господином, лакей, не спеша, с независимым видом, пошел отпирать.

Однако вернулся уже более подтянутый.

– Камергер ди Пинелли, секретарь Ее Величества!

– А, милый мой ди Пинелли, – радушно двинулся навстречу профессор, – очень, очень рад вас видеть... Вот вам сигары, пожалуйста, курите... вот коньяк!

– Сигару с удовольствием, но коньяк в девять утра?... Я думаю, это немного рано, господин министр, – с улыбкой ответил выдержанный, корректный и, как всегда, изящный ди Пинелли.

– Эх, вы, молодежь! Тренируетесь, бережете себя, соблюдаете какой-то режим... Старое поколение, – мы не разграфливаем своей жизни по клеточкам, а зажигаем ее со всех четырех концов. Что лучше, ваша ли воздержанность, наша ли цыганская удаль, – судить не берусь... Я вообще не охотник философствовать... И картины свои пишу, как поет птица на ветке. Поет, потому что не может не петь... Итак, закуривайте... Вот огонь, вот гильотинка, а я... – и с этими словами профессор налил себе коньяку, выпил залпом и, смакуя, облизал красные, не по возрасту красные губы.

Выпустив из-под холеных маленьких черных усиков голубоватое облачко дыма, да Пинелли начал:

– Господин министр, я обеспокоил вас вот по какому поводу... Вы, вероятно, еще не изволите знать, что ровно через месяц исполняется пятидесятилетие Ее Величества королевы Маргареты.

– Что такое? – привскочил Тунда. – Что такое? Одно из двух: или я ослышался, или это мистификация...

– Господин министр, это была бы неуместная, совсем неуместная мистификация...

– Но позвольте, позвольте! Этой цветущей красавице пятьдесят лет! Ее Величеству пятьдесят лет? Не поверю ни за что! – затряс головой Тунда с молодым, задорным блеском маленьких, живых глаз, блеском не без участия четырех выпитых рюмок коньяку. Выпитая сейчас – была уже пятая...

– Я сам согласен с вами. Трудно, очень трудно поверить, но это именно так... Предполагаются торжества. Намечены высочайшие особы, которые съедутся в качестве представителей от своих дворов. От святейшего Отца – монсеньор Черетти делла Торре, от нашей соседки Трансмонтании – князь Леопольд, от Югославии – принц Павел, от итальянской королевской четы – герцог Абрुццкий, из Мадрида – инфант Луис. Но это мало должно интересовать вас, министра изящных искусств, это больше по части министра Двора. Однако не буду отнимать у вас драгоценного времени. Каждый взмах вашей кисти – золото, каждый ваш крохотный этюд – чек на «Абарбанель-банк». Приступаю к цели моего посещения. Ее Величество изволила направить меня к вам...

– Каким приказом осчастливит меня моя королева? – встрепнулся Тунда.

– У Ее Величества две просьбы: не будете ли вы так добры взять на себя наблюдение над декоративным убранством тех дворцовых апартаментов, где будет происходить торжество? Королева всецело полагается на ваш вкус.

– В пределах скромных сил своих постараюсь угодить Ее Величеству.

– Второе же... Ее Величество обдумала свой вечерний туалет в день юбилейного торжества.

– Воображаю! – воскликнул Тунда, – вот у кого бездна тончайшего вкуса...

– Ваши слова, господин министр, как нельзя более можно целиком отнести к тому, о чем идет речь. Вся прелесть в строгих античных складках, ниспадающих вдоль всей фигуры. Ни одна самая лучшая портниха в мире не может так почувствовать подобные складки, как художник-живописец, изучавший драпировки на древнегреческих статуях. Если бы вы, господин министр, в течение двух-трех дней сообразовали исполнить эскиз...

– Двух-трех дней? – перебил Туна. – Через двадцать минут! Но сначала пью здоровье Ее Величества. – И не успел ди Пинелли оглянуться, как Тунда опрокинул шестую рюмку. Сделав бритым лицом своим гримасу, жуя губами потухшую сигару, он поставил на мольберт небольшой картон и, наметив карандашом пропорции фигуры, взяв плоский металлический ящик с акварельными красками, подвинув к себе тарелку с водой, стал набрасывать эскиз, все время занимая гостя.

– Слышали про новый трюк этой Мариулы Панджили?

– А что? – спросил ди Пинелли, знавший про «новый трюк» Мариулы, но в силу корректности своей предпочитавший молчать.

– Как что? Сенсация! Очередной бум! В отдельном кабинете у Рихсбахера она потеряла culotte³, ужиная вместе с юным герцогом Альба. Каково? Представляете себе этот веселенький ужин?.. И эта пикантная часть туалета очутилась у шефа тайного кабинета. О, я уверен, каналья Бузни сумеет прошантажировать ими их обладательницу. Ах, Мариула, Мариула!.. Я не встречал еще такой отчаянной бабы. Но за ее тело можно многое ей простить. А вы слышали про ее константинопольский подвиг?

– Нет, не слышал, – ответил ди Пинелли, на этот раз вполне искренно.

– О, это, я вам доложу, был номер! Это было лет пятнадцать назад. Ваш покорный слуга, тогда почти молодой человек, – усмехнулся Тунца свободным углом рта, в другом была зажата сигара, – командирован был в Константинополь покойным королем для росписи зала в нашем посольстве. Я волочился за турчанками, – уверяю вас, таких хорошеньких ножек вы не встретите нигде в Европе... Это я так, между прочим, а дело вот в чем. Нашим посланником в Константинополе был тогда нынешний церемониймейстер маркиз Панджили. Весь дипломатический корпус знал про связь его жены с испанским посланником Кампо Саградо. Какое постоянство? Не правда ли? И там испанец, и здесь... Однажды они вдвоем, Мариула и Кампо,

³ Нижнее белье (фр.).

задумали совершить по Босфору *partie de plaisir*...⁴ днем. Взяли каик, стрелой помчавший их вниз по течению. Высадились в Бебеке. Вы знаете Константинополь? Бебек удивительно живописен, как, впрочем, и весь Босфор. Влюбленная парочка, побродив среди холмов, нацеловавшись под деревьями, забрела в глухой турецкий кафан утолить жажду. А в кафане этом бражничало, вопреки мусульманскому закону, с десятков турецких артиллеристов-солдат соседней береговой батареи. Как это вышло, не берусь сказать в точности, свидетелем не был, но только солдаты схватили Кампо Саградо, связали его, и тут же по очереди, как говорят военные, «в затылок», наслаждались Мариулой... Не солдаты, а звери! Дикие анатолийцы...

– Ужас! – вырвалось у ди Пинелли.

– Не знаю, был ли это для Мариулы особенный ужас. Она такая любительница сильных ощущений... Слушайте же, в этот самый день вечером у нее был парадный обед. Она сидела на своем почетном месте хозяйки, сидела, ну решительно, как ни в чем не бывало! Такая милая, обворожительная, светская... А ведь мы, гости, мы-то знали, что было днем на Бебеке...

– Какая выдержка! – изумился ди Пинелли.

– И добавьте, какая физическая выносливость. Другая на ее месте пластом, без задних ног лежала бы... И это еще не лучший конец... Дальше, – что ж дальше? Панджили был отозван по высочайшему повелению и до самой смерти короля Бальтазара оставался в тени.

– А Кампо Саградо?

– Его перевели куда-то с понижением. Не то в Аргентину, не то в Бразилию. Ну-с, милый ди Пинелли, эскиз готов. Потрудитесь взглянуть...

– Какая прелесть, какая прелесть! – загорелся секретарь Ее Величества, глядя на картон, – это не эскиз, это целый портрет во весь рост. И какое сходство. У вас богатейшая зрительная память. Это не платье, а шедевр! Ее Величество будет в восторге.

– А посему за здоровье Ее Величества еще раз, – подхватил Тунда, с какой-то жонглерской быстротой и ловкостью наливая и опрокидывая седьмую рюмку.

В соседней комнате затрещал телефон. Слышно было, как лакей подходил медленными шагами. Через минуту он, как встрепанный, вбежал в ателье.

– Полковник Джунга, адъютант Его Величества, спрашивает, может ли господин министр принять Его Величество минут через десять?

– Конечно, может. Постой! погоди! Ты, по обыкновению, все перепутаешь... Я сам поговорю с полковником, – и профессор Тунда мячиком выкатился из мастерской.

Оставшись один, кавалер ди Пинелли тотчас же сбросил маску хорошо воспитанного, корректного человека вообще и светского придворного в частности. Этот уже седеющий, вдруг преобразившийся красавец ушел в созерцание эскиза. Сухое ястребиное лицо его выражало бесконечную трогательную влюбленность, а глаза так и светились романтическим обожанием. И чудилось, что это не двадцатое столетие, а средние века, и затянутый в черный жакет мужчина южного типа – не тридцатилетний придворный сановник, а юный паж, готовый целые ночи играть на лютне под окном своей королевы...

Мячиком вкатился из глубины квартиры знаменитый художник. Он застал ди Пинелли равнодушным, холодным.

– Итак, господин министр, я могу сейчас захватить с собой этот маленький шедевр, дабы скорее порадовать им Ее Величество?

– Конечно, конечно! Я вам его сейчас заверну, – и Тунда, неумело завертывая эскиз в белую твердую бумагу, задел ею торчавший в зубах окурок, и пепел обсыпал его бархатную куртку. Так, с этим пеплом, размазанным по груди, не замечая его, встретил министр изящных искусств своего короля.

⁴ Увеселительную прогулку (фр.).

11. Катастрофа

Адриан приехал со старшим адъютантом, полковником Джунгой. Этот широкоплечий и грудастый великан считался одним из первых силачей во всей Пандурии. Густые усы, похожие на двух крысят, клубочками усевшихся под носом, крысят в постоянном движении, сообщали чрезвычайную свирепость лицу Джунги, в действительности человека доброй и мягкой души.

Адриан, осматриваясь томными, в шелку длинных густых ресниц глазами, молвил со своей обаятельной улыбкой:

– У вас, как всегда, такой живописный беспорядок.

– Увы, к сожалению, Ваше Величество, совсем не живописный. Беспорядок старого холо-
стяка, привыкшего жить цыганом...

– А я к вам сразу по нескольким делам. Во-первых, относительно декоративного убранства к юбилейному празднику. Я уверен, ваш вкус и ваша фантазия сумеют скрасить недочеты и бедность наших дворцовых апартаментов. У вас был только что ди Пинелли по этому самому поводу от мама, но я еще от себя прошу. Затем архитектор уже представил мне проект дома инвалидов. Я хочу узнать ваше мнение... Сегодня за завтраком у меня обсудим с вами вместе проект, который лично мне нравится. Он сумел сочетать архитектурное благородство общего с технической стороной. У каждого инвалида будет своя небольшая светлая комнатка, где он может заниматься тем ремеслом, которое ему по душе и по силам... Наконец, в-третьих, относительно портрета баронессы Рангья. Мы с вами остановились на небольшом, овальной формы.

– Так точно, Ваше Величество, соблаговолите взглянуть на выбранную мною рамочку. Она в гармонии и в стиле с задуманным портретом.

Не успел Тунда показать рамочку, как вновь затрещал телефон. Лакей доложил:

– Граф Видо покорнейше просит Его Величество пожаловать к аппарату.

– Мы виделись с графом всего полчаса назад. Вероятно, что-нибудь очень серьезное, – недоумевал король, идя к телефону, мелькая длинными, стройными ногами в красных галифе, в гусарских сапогах и чуть слышно звеня маленькими шпорами.

Вернулся взволнованный, возбужденный.

– Катастрофа... Несчастье! Городок Чента Чинкванта весь уничтожен, раздавлен. Сорвалась большая скала... Много человеческих жертв... Какой ужас! Видо уже отправил летучие санитарные отряды. Джунга, едем сейчас же. А вы, господин министр... Для вас как для художника...

– Сию минуту, Ваше Величество, сию минуту... Только захвачу альбом и карандаши, – и, взяв поспешно и то, и другое, сунув в карман своей бархатной куртки несколько сигар, Тунда, как был, в мягком, домашнем берете, кинулся догонять короля и Джунгу, уже гремевшего по лестнице саблей. Напрасно зывал сверху лакей:

– Шляпу, господин министр... шляпу!..

У подъезда все трое сели в мощный королевский «Мерседес» с шофером, одетым во все белое, и выездным лакеем в ярко-голубом плаще с пелериной и в треуголке с плюмажем из белых перьев.

– Чента Чинкванта. Полный ход! – бросил король.

Машина, содрогаясь, гудя, ринулась через весь город, как взбесившийся зверь.

Маленький городок Чента Чинкванта находился в тридцати километрах от Бокаты, почти у самого моря. Вела туда шоссейная дорога, то прямая, гладкая, то серыми петлями и зигзагами прорезывающая складки гор, особенных, прибрежных гор Пандурии с их нежной голубоватостью, переходящей в ярко-фиолетовый тон. Гор, увенчанных Бог знает на какой высоте острыми, ослепительно розовеющими на солнце вершинами. Попадались гранитные мосты, переброшенные выгнутой аркой через головокружительные бездны. Не нынешнее, а что-то

далекое, циклопическое, отзывающее мощным размахом и мощной работой уже давным-давно вымерших титанов было в этих монументальных, переживших тысячелетие гранитных арках.

Древние римляне, владевшие миром, владели и этой прибрежной полосой.

Острой колокольной, еще более острым минаретом мусульманской мечети и красноватыми чешуями почти плоских черепичных крыш лепилась Чента Чинкванта по склону пышно-зеленых, сплошь в садах и огородах, холмов. Веками жила тихо и мирно Чента Чинкванта. Жители с детьми и женщинами – было их всех тысяча с небольшим – занимались кто рыбной ловлей, кто садоводством. Фрукты, овощи, рыба – все возилось в базарный день в Бокату на остроносых и длинных фелюгах. И пандуры, и мусульмане гнали эти перегруженные кладью фелюги гибкими веслами, гнали с изумительной быстротой.

Городок, обращенный к морю, живописный своей хаотичностью и едва ли не полным отсутствием улиц в европейском значении слова, поднимался, цепляясь белыми домиками, до подножья горы, где уже начинались пастбища с одинокими фигурами обожженных солнцем и ветром пастухов, с грязно-серыми силуэтами овец и баранов. А вверх, на невероятных крутизнах, высилась вот-вот готовая свалиться скала, величиной, по крайней мере, в двадцать многоэтажных домов. Висела она так еще с тех незапамятных времен, когда не было еще не только Чента Чинкванты, но даже и циклопических мостов из гранита.

И надо же случиться катастрофе в глухую ночь, на самом рассвете, когда необыкновенно сладок сон и весь городок спал под красными плоскими крышами. Скала, висевшая в течение сотен, а может быть, и тысяч жизней человеческих, сорвалась с безумной крутизны своей, в таком же безумно стремительном падении дробясь на глыбы минеральных пластов, земли и камней. На своем пути чудовищные глыбы так расплюснули небольшую глинобитную мечеть, как если бы это был карточный домик, и так сломали минарет, как если бы встретили на пути своем воткнутой в землю острием вверх карандаш. Церковь пострадала меньше. Прокатившиеся мимо глыбы стихийно разворотили весь фасад, сделав гигантскую брешь. Из ста пятидесяти домиков Чента Чинкванты добрая половина была сметена, раздавлена, четверть пострадала весьма значительно и лишь последняя четверть отделалась кое-как, сравнительными пустяками.

Чента Чинкванта имела стратегическое значение. Здесь был ключ к подступам с моря к Бокате. В полукилометре находилась береговая, искусно замаскированная батарея, соединенная телефонным проводом с генеральным штабом и военным министерством.

Артиллеристы – офицеры и солдаты, прибыв с топорами и лопатами, начали раскапывать похороненных замертво и заживо, но, убедившись в своем бессилии, дали знать в Бокату.

Военный министр в восемь утра поднял с постели графа Видо, занимавшегося до трех часов ночи. Пошла телефонная трескотня, какой не было еще со времени войны, когда король Адриан, отовсюду окруженный неприятелем, казалось, обреченный, погибающий, вдруг дерзким, молниеносным маневром сам перешел в наступление и, разбив втрое многочисленного врага, преследовал его, бил и гнал сто двадцать километров...

О событиях в Чента Чинкванте уже в десять утра вся столица оповещена была экстренными выпусками газет. Левая и социалистическая печать не упустили, разумеется, случая лягнуть вечно во всем виноватое правительство. И то, что маленький городок расплюснут был сорвавшейся скалой, и в этом усматривала «оппозиция» империалистические и реакционные козни графа Видо и всей его «буржуазной камарилы».

12. Король и демократы

Все шоссе от столицы до Чента Чинкванты было занято всадниками, автомобилями, экипажами, пешими колоннами войсковых частей. Полк гвардейских улан Ее Величества шел на рысях, чтобы, скорее достигнув Чента Чинкванты, принять участие в спасении погибающих. Жандармерия, полиция, саперные и технические команды с грохотом, в облаках густой и едкой пыли, мчались на грузовиках. Мчались серые автомобили Красного Креста, мчались санитарные «фаланги» имени королевы-матери, принцессы Лилиан и короля Адриана. Врачи, сестры милосердия и фельдшерский персонал – все, кое-где и кое-как примостившись, привставая от нервного нетерпения и думая ускорить этим бег машины, с пьяными от возбуждения лицами, хрипло срываясь, глотая пыль, подгоняли шоферов.

Легким гимнастическим шагом, почти не отставая от конницы, бежал полубатальон горцев-мусульман в красных фесках, в синих куцах куртках и в широких синих шальварах, переходящих в белые чулки и мягкие полусапоги буйволовой кожи.

И все: пехота, конница, Красный Крест, санитарные колонны – все, слышав сзади знакомые звуки мелодичной сирены, единственной во всей Бокате, давали дорогу, и королевская машина проносилась в вихре и только можно было заметить трепещущий флаг да белый плюмаж выездного лакея.

Сначала король обогнал несколько автомобилей – с графом Видо, министрами, депутатами парламента и высшими военными властями. Потом, увидев в сером, низком, почти гоночном автомобиле сестру милосердия с большими, как звезды, сияющими глазами, приветствовал ее рукой в белой, уже запыленной перчатке. Это была принцесса Лилиан с секретарем своим, горбатым Гарджуло, и двумя фрейлинами.

Страшен вид человеческого жилья, уничтоженного бомбардировкой. Менее страшно зрелище деревьев, пострадавших таким же образом, но все же впечатление сильное, хватающее за душу. Ни одного кипариса на мусульманском кладбище не осталось в живых. Да и все кладбище было погребено под обломками свалившейся скалы. От гордых кипарисов с темно-зеленой листвой, поднимавшихся к небесам заостренными верхушками, осталось лишь жалкое воспоминание. Одни лежали во прахе, с вывернутыми корнями, с еще свежей, землисто-черной воронкой. Другие, сломанные пополам или на некоторой высоте, являли собой острые арки, и что-то жалкое, щемящее было в уткнувшихся в землю верхушках.

Когда прибыла вереница автомобилей, раскопки уже шли полным ходом. Работали соседи-артиллеристы и уцелевшие – их было немного – горожане. Бузни как истый шеф тайного кабинета очутился в Чента Чинкванте за несколько минут до прибытия короля. Он знал, что на Адриана готовится покушение, и, бросив впереди себя на грузовике двадцать дюжих, усатых и бритых, одетых во все черное и в шляпах-котелках агентов, искусно разместил их. Так разместил, что каждое неизвестное лицо, которое пожелало бы приблизиться к Его Величеству, находилось бы и в поле зрения, и в поле «прицела».

Были курьезы, почти неизбежные в подобных катастрофах. Один дом, например, уцелел весь, но деревянный резной восточный балкон вдоль всего фасада сорвался и висел, как говорится, «на ниточке». Другой домик, привлекий всеобщее внимание, тоже остался цел и невредим, но непостижимо, в силу каких таких законов баллистики, перемахнувшие через крышу глыбы земли, каждая в полтора человеческих роста, плотно завалили и дверь, и единственное оконце. Закупоренные обитатели не могли выйти из дому. Высохший, с подслеповатыми глазками мусульманин, побывавший на своем веку не менее пяти раз в Мекке, бессильно ковырялся в завалившей дверь земле.

Подошел король. Ему казалось, что этому ковырянию конца-краю не будет. Он порывисто снял с себя расшитую белыми бранденбургами венгерку, бросил ее на ловко подхватив-

шие руки выездного лакея и, вырвав у старика лопату, начал так орудовать ею, что во все стороны полетали большие, рыхлые комья... Богатырь Джунга тотчас же присоединился к королю, творя чудеса тяжелым огородным заступом.

Адриан в одной рубахе и красных галифе, раскапывающий засыпанный домик, произвел сенсацию. Все министры, за исключением графа Видо, спеша раздобыть кто кирку, кто лопату, с неуклюжестью штатских людей, не знающих, что такое тренировка и спорт, бросились подражать королю.

Особенно суетился новоиспеченный барон, все время желая попасться на таза Его Величеству. Тщетные усилия, ибо король никого не замечал: ни обливавшегося потом министра путей сообщения, ни стоявших в десятке шагов с независимым видом с папироской в зубах депутатов сейма – Шухтана и Мусманека.

Не замечал он и сухо тарахтящих кинематографических аппаратов. По всей Пандурии, по всему Западу разнесутся снимки, где на фоне страшного несчастья король, движимый таким гуманным порывом, работает, как простой солдат. А левые депутаты, мечтающие спихнуть его, дымя папиросами, один насмешливо, другой злобно, критикуют короля и принцессу Лириан, заботливо перевязывающую на санитарных носилках раненых, искалеченных мужчин, женщин, детей.

Шухтан – высокий, упитанный, с животиком, избалованный большой практикой адвокат. Мясистое лицо, горбоносый семитский профиль. Густые волосы в жестких завитках. За стеклами золотого пенсне поблескивают самодовольные, наглые, сытые глаза. Одет с иголки, но это – безвкусица, дурной тон. На левой руке – английский дорожный плащ. На жирных пальцах правой руки – два бриллиантовых перстня. Красный, бантиком, галстук, куцый коричневый пиджак, панталоны «петита» – рисунок мелкой шахматной доски, бледно-желтые туфли, а на голове – с небрежностью, претендующей на артистическую, – заломленная панама.

Таков был кандидат в премьер-министры будущей Пандурской демократической республики.

Резкий контраст являл собой другой адвокат, метящий в президенты Пандурской демократической республики. Бесталанный, безнадежно лишенный малейшего дара слова как адвокат и неплохой митинговый болтун, Мусманек не имел практики. Даже «политические» избегали обращаться к нему: провалит. Но жил он безбедно, получая какие-то загадочные субсидии. У него была некрасивая жена и некрасивая дочь – старая дева с прыщеватым, лошадиным лицом. Сам он был не так мал ростом, как плюгав, сер и бесцветен. Узкие плечики, впалая грудь и, как на вешалке, измятый пиджак. Маленький носик, маленькие глазки, скрытые «профессорскими» очками. Грязно-седоватая борода, прямая, жесткая, растущая кое-как и вместе с усами закрывающая губы.

13. Появление Зиты

После коротконового Шухтана оставалось впечатление большой головы и большого лица на короткой шее. После Мусманека не оставалось никакого впечатления, – до того весь он бесцветен. Мелкое, закрытое лицо забывалось через минуту. Вернее, это был человек безо всякого «лица».

– Ищут популярности. Ищите, ищите! Вас ничто не спасет! Над вами уже занесен меч судьбы! – тихо произнес Шухтан с такой же самой жирной улыбкой, как и его мясистые, крупные черты и глаза.

Мусманек подобострастно хихикнул:

– Зажрались они в своих дворцах! Зажрались! Пора итога...

Неудачник-адвокат уже рисовал себе, как он будет жить в королевском дворце и как будет выписывать из Парижа для своей супруги и дочери последние модные новинки. Их будут привозить, вернее, они будут прилетать на аэроплане.

Только на аэроплане! Мусманек видел в этом особенный президентский шик. Но сейчас он увидел перед собой нечто более реальное. Животом и широкой грудью напирал на него черноусый «дядя».

– Господа, потрудитесь отойти подальше...

– Мы депутаты парламента, – с присущим ему апломбом, переходящим в наглость, возразил Шухтан.

– Я знаю, но это несколько не меняет дела. Потрудитесь отойти! – повысил тон, несколько не повышая голоса, черноусый господин в котелке, делая вид, что беседует самым наилубезнейшим образом.

Шухтан и Мусманек, фыркая, повиновались.

– Этот Бузни всю местность наводнил своими шпиками, – ворчал Шухтан.

– А чем же держится королевская власть, как не шпиками? – буркнул в свою грязно-седую бородку Мусманек.

Баронесса Зита Рангя помогала принцессе Лилиан ухаживать за ранеными. На каждом шагу – потрясающие картины. Особенно много было детей, вынесенных в одном белье, как застала их катастрофа во время сна. Окровавленные лохмотья и куски мяса. Никакие швы, никакие перевязки не могли их спасти. Они умирали с той особенной кротостью и беспомощностью, как только умеют и могут умирать дети. Были посиневшие тельца с раздробленными ножками, ручками, изуродованным личиком. Матери кидались к ним, выхватывая у санитаров и сестер, прижимали судорожно, истерически, словно думая этим материнским порывом вдохнуть утешающую жизнь...

Мусульмане мучились и умирали с поистине восточным фанатизмом, без криков, а лишь с тихими глухими стонами, призывая Аллаха.

Миниатюрная Зита, вся в белом, напоминающая волшебную фею из балета кукол, поработав и желая отдохнуть, подошла к дому, где привалившая к дверям глыба, стараниями Адриана, Джунги и ротмистра Алибега, командующего королевским конвоем, уменьшилась на уже целых девять десятых. Еще немного усилий – и можно будет проникнуть в дом.

Рангя питал слабость к форменной одежде. Заняв министерский пост, он тотчас же избрал для своего ведомства красивую форму с нашивками, цветными кантами. Фуражки – с блестящим золоченым значком на околыше. И сам он был расшит весь кантами и галунами, а фуражка, съехавшая на затылок, сверкала девственной новизной.

Тучный, обливающийся потом, сопящий в крашенные усы, он все время вместе со своей лопатой держался возле короля.

Зита никогда еще не видела их так близко, а может быть, и видела, но не обращала внимания. Но сейчас, в блеске ясного утра, на фоне величавой, живописной природы, такой равнодушной, безучастной к смерти, страданиям и горю, сейчас особенно ярко видела она разницу между любовником и мужем.

Рангья был типичнейший левантинец, и к его смуглому лицу, его маслянистым иссиня-черным волосам и влажным глазам навывкате, с напухшими тяжелыми веками, гораздо больше шла бы феска, нежели фуражка.

– Вот что значит, – мелькало у Зиты, – плебей, и вот что значит – порода!

Рангья весь был мокрый, пот с него лил ручьями, застилая глаза, размазывая краску густых усов. Защитного цвета мундир пропотел и под мышками, и на спине.

Мускулистый, великолепно сложенный Адриан – сухой весь, как если бы не было ни тяжелой, напряженной работы, ни знойного солнца. Только откинутый назад пандурский лоб слегка влажен, лицо и ресницы напудрены густым слоем пыли, сообщавшей какой-то особенный прекрасный блеск глазам. Белые зубы, освещая в улыбке лицо, блестели еще ярче.

Темные, миндалевидные глаза короля встретились с большими светлыми глазами баронессы Рангья, постоянно меняющими свой цвет с каким-то неуловимым очарованием.

Десятки чужих, посторонних глаз отделяло их. Отделял этикет, ибо и здесь, в этом горном, полудиком местечке, король без мундира, в одной рубашке и с лопатой в руке, оставался королем. И потому, что оба не могли двинуться друг к другу навстречу, как пара самых обыкновенных влюбленных, именно потому их запретный, тщательно скрываемый, хотя и явный для многих, роман и почувствован был в момент встречи взглядов с особенной, жуткой, стыдной и интимной остротой. Адриан вспыхнул. Это не было замечено потому лишь, что смугломатовое лицо его, как гримом, было покрыто пылью. Зато маленькая баронесса предательски зарделась. Предательски, ибо необыкновенная, нежная и чуткая кожа бледного лица выдавала ее с головой, выдавала все ее душевные переживания. И тем горячее и смущенней был ее румянец, заливший и высокий лоб, и бело-молочный подбородок, что в глазах, опущенных длинными ресницами, она прочла:

– Когда же я буду опять всю тебя, точеную, ослепительно-белую, покрывать безумными поцелуями? Когда? Ведь мы уже несколько дней не виделись...

Это было только для нее. А «для всех» он произнес с улыбкой и легким поклоном в ответ на ее глубокий придворный реверанс, такой, как если бы это было на парадном обеде в кирпично-красном дворце, за кирпично-красной стеной:

– И вы здесь, баронесса? Делает честь вашему доброму сердцу, что вы приехали помочь хоть немного этим несчастным...

– О, государь, ваш личный пример может воодушевить самых черствых, может растрогать самое каменное сердце!

Так говорил маленький, нежно-коралловый ротик с чуточку кривой линией губ, – эта неправильность сообщала им что-то особенно милое и детски-капризное, – а глаза, ставшие синими, говорили: «О, как я люблю тебя!»

Все это один миг, да и то прерванный. От имени Лилиан явилась за Зитой одна из фрейлин принцессы и увела ее, – число раненых увеличивалось и все рабочие руки были на счету.

Адриан, довольный сознанием, что любит и любим, что ему тридцать два года и впереди так вольно разлеталась вся жизнь, еще с большей энергией и силой схватился за лопату. Через несколько минут забаррикадированная стихией дверь была освобождена. Адриан первый проник в дом. Из бедного мусульманского жилища он вынес на руках полузадохшегося трехлетнего ребенка. Джунга бережно, как будто опасаясь раздавить своими железными руками, нес молодую мать, от ужаса впавшую в глубокий обморок. Не желавший ни в чем отставать Рангья тащил на спине отца ребенка, тоже обморочного, либо от удушья, либо от страха. На воздухе все трое, вспрыснутые водой, растертые, мало-помалу приходили в себя.

В этой человеческой трагедии, трагедии с декорациями, которых не создать ни одному живописцу мира, – так они созданы были Господом Богом, – трагедии на фоне безмятежных, бирюзовых небес и воздушных фиолетовых горных далей, были разные герои и действующие лица, и пострадавшие, и те, что нуждались в уходе, и те, для которых вместо всякого ухода необходим был вечный покой. Были те, которые облегчали страдания одних и снаряжали других в далекий, далекий неведомый путь. Были равнодушные и праздные, пытавшиеся сочинить из катастрофы политический скандал, зрители вроде Шухтана. Были чиновники долга, – сановники, министры. Высокое положения обязывало их поскучать. Были хищники, почуявшие заработок и во имя этого заработка слетевшиеся: сотрудники газет, иностранные корреспонденты, кинематографисты.

И среди этой пестрой толпы, по разным причинам съехавшейся в расплющенный несколькими сотнями тысяч тонн минеральных пород и земли, крытый чешуйчатой черепицей городок, профессор Тунда единственный был «сам по себе».

Трагедия Чента Чинкванты была для него изумительным по своему драматизму пейзажем. Пейзаж после битвы титанов, швырявшихся обломками поднебесных скал.

И вот их нет уже – титанов. Они скрылись, и вместо них суется, хлопочут в этом хаосе какие-то новые человеческие муравьи. Оставаясь спокойным, сошедшим с Олимпа – художником-творцом, Тунда в берете, с погасшей сигарой в зубах, зарисовывал в свой альбом и превращенные в бесформенные груды жилища, и причудливые формы гигантских глыб, и поверженные в прах кипарисы, и с одинаковым мастерством успел набросать и тонкую Лилиан, ухаживающую за ранеными, и величавого графа Видо, окруженного министрами, и миниатюрную фигуру баронессы Рангя, и короля с лопатой, и Джунгу, и везде поспевающего Бузни.

Каждый набросок – шедевр в смысле сходства, движения.

Француз-корреспондент, маленький, кругленький, еврейского типа, следовал по пятам за профессором, через плечо засматривал в альбом, ахая, охая, восхищаясь. Наконец не выдержал:

– Господин министр, за большой рисунок этой катастрофы, специально исполненный для «Illustration», – десять тысяч франков! Чек сейчас!..

– Убирайтесь к черту! – не отрываясь от альбома и не зная, кого он посылает к черту, буркнул художник, сквозь сжимающие потухшую сигару зубы...

14. Миссия кардинала Черетти Делла Торре

Кардинал монсеньор Черрети делла Торре был назначен папским нунцием в Бокату, сменив предшественника своего, кардинала Звампу, отозванного в Рим.

Черетти делла Торре, несмотря на свои пятьдесят шесть лет, считался одним из красивейших князей католической церкви. Он был совершенно седой, имел свежее, молодое бритое лицо и еще более молодые глаза, чернью, жгучие глаза сицилийского пирата. Да он и был родом из Катании. Может быть, в очень отдаленные времена предки его и занимались морским разбоем, но уже пятьсот лет назад Черетти делла Торре считались далеко не последними в семье сицилийской аристократии.

У женщин кардинал имел такой успех, какой ни одной оперной знаменитости даже не снился.

Но монсеньор отличался в этом отношении большой разборчивостью, выделяя поклонниц, соединявших приятное с полезным – внешнюю красоту с положением в свете и с политическими связями.

Сам человек светский с головы до ног, монсеньор владел собой с великолепной ватиканской выдержкой. Одного не мог только, – гасить яркий разбойничий блеск глаз своих, живых, слишком живых для такой высокой духовной особы... Но этими глазами и покорял он женщин, изнемогавших от их сицилийского зноя...

На другой день после катастрофы в Чента-Чинкванте кардинал был принят в частной аудиенции королевой-матерью в ее белой гостиной с громадным портретом, где на фоне дворцового парка Тунда изобразил Ее Величество в черной амазонке, верхом на белом арабском коне. Эффектное сочетание стройной и сильной фигуры царственной амазонки в черном с белым, как снег, розовеющим на солнце арабским скакуном чрезвычайно удалось Тунде.

Кардинал в темной рясе, подпоясанный широким фиолетовым поясом и в красной шапочке, чудесно оттенявшей его седые волосы, знал, что сообразно выработанному для этой аудиенции этикету, сначала он королеве целует руку, а затем тотчас же она коснется губами его руки.

И так и вышло. Он с явным удовольствием мужчины поцеловал маленькую, надушенную, выхоленную руку Ее Величества, а Ее Величество коснулась губами аметистового перстня на пальце кардинала, давая понять, что ее поцелуй – символ.

Черетти делла Торре, до мозга костей куртизан, с восхищением оценил этот дипломатический жест Маргареты.

Начал он с того, с чего начинают в таких случаях все политики в пурпуровых мантиях.

Он привез Ее Величеству благословение Его Святейшества. Он бесконечно счастлив быть аккредитованным при дворе, где молодой и красивый король стал мудрым вождем и героем своего народа и где королева-мать восхищает всю Европу своим умом, изяществом, своим обаянием королевы, обаянием женщины, тонкого политика и не менее тонкого ценителя искусств и вообще прекрасного.

Не оставшись в долгу, королева ответила той же монетой:

– Монсеньор, я очень рада. Мое искреннее желание осуществилось. Когда я узнала, что кардиналу Звампа предлагают пост в Риме, я написала Его Святейшеству, прося назначить в Бокату вас, монсеньор.

И светлые глаза королевы встретились со жгучими разбойничьими глазами Черетти. Лукавый нунций знал, что королева не писала ничего о нем папе и что вообще, если даже имела о нем, Черетти, какое-нибудь представление, то весьма смутное, однако рассыпался в таких благодарностях, как если б он был скромный, незаметный каноник и от Маргареты зависела вся его карьера в дальнейшем.

Лгал вкрадчивый голос с таким богатством вибрирующих интонаций, лгала выразительная актерская улыбка, но полные дерзкого огня глаза не могли лгать.

Он это чувствовал и был недоволен собой.

Дальше он выразил, опять-таки без участия глаз, свое соболезнование по поводу катастрофы в Чента Чинкванте.

– Это ужасно, ужасно! – повторяла королева, – столько несчастных жертв! Ах, монсеньор!..

– Божья воля, – со вздохом развел он руками. – Весь город только об этом и говорит... Его Величество, рискуя в порыве христианского человеколюбия драгоценной жизнью своей...

– Ах, не вспоминайте, монсеньор... Мне даже сейчас жутко. Не правда ли, странное чувство? Бояться за близкое, дорогое существо по миновании опасности. Так бояться, как если бы опасность все еще грозила. К великому сожалению, я не могла поехать. Я была не совсем здорова.

«Да и вообще, как я слышал, ты избегаешь показываться при свете дня. Особенно же на солнце», – подумал кардинал, соболезнуя качая головой.

А она, смотря на него сощуренными глазами, думала в этот же самый момент, что ему, с его лицом и глазами, больше был бы к лицу расшитый золотом костюм испанского матадора, чем кардинальская мантия.

Так, мысленно критикуя друг друга, они все же оставались довольны: королева пандуров – монсеньором Черетти, монсеньор Черетти – королевой. А главное, дальнейшая беседа послужила причиной резкой перемены в судьбе главных героев нашего романа.

Путь из Рима в Бокату лежал через Трансмонтанию. В столице Трансмонтании монсеньор был принят и обласкан королевской четой. Хотя королевская чета, подобно всей трансмонтанской династии, отличалась особенной исключительной преданностью Святейшему Престолу, – королеву и короля многие называли вассалами Ватикана, – однако прием, оказанный монсеньору Черетти, таил в себе еще и другое кое-что, кроме верноподданнических чувств к наместнику Христа на земле.

Кардинал покинул страну, пожалованный в счет будущих заслуг своих высшим орденом. Сейчас, в белой гостиной Маргареты, он хотел оправдать доверие. Он дипломатически стал нащупывать, как относится королева-мать к Трансмонтании и к тем, кто ею правит.

Маргарета высказалась:

– Внешние добрососедские отношения не оставляют желать лучшего, и в прошлом году мы обменялись визитами. Королева Элеонора, король Филипп и прелестная Памела гостили у нас три дня. Было сделано все, чтобы они не скучали. Мы большие друзья, а между тем, всегда какие-то пограничные инциденты... Но это пустяки... А вот главное... Трансмонтания в последнее время является базой революционной пропаганды, направляемой в Пандурию.

– О, Ваше Величество! – горячо воскликнул монсеньор. – Я уверен, что об этой базе королевской чете ничего не известно.

– И я уверена. Однако... Однако остается какой-то неприятный привкус...

– Ваше Величество, к сожалению, конституция в Трансмонтании еще либеральнее, чем в Пандурии. Венценосец Филипп, этот прямой потомок Людовика Святого, изволил с горечью обмолвиться мне, как он опутан по рукам и по ногам этой конституцией. Парламентаризм – вот зло.

– Зло, – вдумчиво согласилась Маргарета, – и не как идея, – идея прекрасная, подобно большинству идей, – а как осуществление. Для вершения с парламентской трибуны судьбами государства идут, увы, гораздо чаще глупые, тупые, продажные, с низкой и грязной душой, чем умные, образованные, неподкупные и с чистым сердцем. И уже потому это именно так, что первых неизмеримо больше на свете, чем вторых.

– Золотые слова! – согласился монсеньор, склоняя голову. После некоторой паузы он спросил, с виду меняя тему, а на самом деле логически развивая ее.

– Ваше Величество, вы тонкий знаток женской души. Каково мнение ваше о принцессе Памеле?..

«А, вот где зарыта собака», – подумала королева, ожидавшая этого вопроса.

– Я уже сказала, монсеньор... Она прелестна. Будь жив Веласкес, он написал бы с нее одну из своих инфант. Памела хорошо образована и воспитана, далеко не в пример многим теперешним принцессам, которые убегают с какими-то чуть ли не настройщиками и берейторами из цирка. Когда она выйдет замуж, она будет красива, горда, величественна. Последнее совсем не легко, – носить и свою мантию, и свою корону. Одного боюсь...

– Да? – насторожился своими жгучими глазами кардинал.

– Что при ее слабом здоровье она или совсем не будет иметь детей, или же первые роды явятся для нее, бедняжки, фатальными.

– О, я полагаю, что в данном случае опасения Вашего Величества напрасны, – поспешил возразить папский нунций, и с такой уверенностью, как если бы он всю свою жизнь был лейб-акушером.

– Дай Бог, чтобы вы были правы, монсеньор, и я ошибалась... Дай Бог...

Теперь кардинал ощутил под собой более твердую почву. Он понял, что Маргарета согласна увидеть Памелу супругой своего сына и только одно смущает, – возможная бесплодность Памелы.

– Когда она гостила у нас, – продолжала Маргарета, – от меня не ускользнуло ее увлечение Адрианом, – да и в самом деле, разве он может не понравиться? Он, с его внешностью, с его обаянием?..

– С героической легендой, обвеявшей его славное имя? – подхватил кардинал. – Самый завидный жених в Европе, увы, слишком долго остающийся женихом, – вздохнул Черетти так глубоко, словно женитьба короля Адриана была для него вопросом жизни или смерти.

Поэтому он как бы вскользь упомянул, что Памела далеко не бесприданница. Королевской четой положена крупная сумма на ее имя в один из лондонских банков. Но самое главное не в этом, а в драгоценностях, доставшихся Памеле, когда она была еще ребенком, от ее покойной бабушки, графини Шамбор.

Кардинал видел эти драгоценности. Королева-мать показывала ему. Среди них очаровательная бриллиантовая диадема Марий-Антуанетты. Настоящий шедевр в смысле подбора камней и тончайшей художественной работы.

Отпуская нунция, Маргарета обнадежила его:

– Монсеньор, мною будет сделано все в пределах моих слабых материнских сил... Я приглашу принцессу Памелу на свое пятидесятилетие, чтобы она ближе могла познакомиться с Адрианом. А вас милости прошу пожаловать сегодня к обеду. Вы где остановились?

– В отеле «Мажестик», Ваше Величество.

– В семь вечера адъютант сына заедет за вами...

И опять он поцеловал ее руку, а она коснулась губами аметистового перстня.

15. Неожиданный удар

Маргарета сама ничего не имела против того, чтобы породниться с правящим домом Трансмонтании, почти великодержавной соседки своей. Это давно приходило ей в голову. Больше чем приходило – не давало покоя. Но сейчас, после беседы с папским нунцием, она с какой-то особенной выпуклой ясностью поняла: этот брак необходим, неизбежен. Осуществить его надо возможно скорей и во что бы то ни стало. Гибкий ум королевы подсказывал: идти прямой дорогой, как это было до сих пор, убеждать сына, переходя от угроз почти к мольбам, и наоборот, – никакого успеха не будет...

Она так и сказала секретарю своему, камергеру ди Пинелли.

– Он влюблен в Зиту Рангья. Натура глубоко честная, прямая, чистая, – Адриан не способен делить себя между королевой-супругой и любовницей. Не способен. Бывают такие мужчины, их очень мало, но все же бывают...

– В таком случае создается невозможное положение, Ваше Величество! – озабоченно развел руками жгучий, уже седеющий красавец.

– Невозможных положений нет, – улыбнулась Маргарета, – есть трудные, очень трудные. Мы имеем дело с очень трудным положением, но это еще не значит – невозможным. Выход есть. Победа возможна. Но там, где победители, там и жертвы. В данном случае придется пожертвовать маленькой Зитой, которую я очень люблю, как за нее самое, – ведь она же прелестна, – так и за то, что она искренно любит моего сына. Да, да, не делайте таких глаз и не возражайте! У меня сердце чуткое, – сердце женщины, и я вам скажу: ее не привлекает в нем блеск обстановки, высокое положение. Если б мановением волшебной палочки он из короля пандуров превратился вдруг в скромного офицера или чиновника, Зита... Вы понимаете, вот за что я ее ценю и люблю, и вот почему мне так тяжело сознавать ее роль жертвы, жертвы, увы, неизбежной! Позвоните и от моего имени пригласите ее к пяти часам.

В пять часов Зита Рангья удостоилась особенной чести.

Вдвоем с королевой она пила чай в том самом голубом будуаре, порог которого еще не переступила еще ни одна из самых знатных и заслуженных дам Двора.

Обласканная, Зита сияла. Королева похвалила ее светлый весенний туалет, цвет лица и, указывая на картину Ватто, где на лужайке резвились напудренные маркизы, молвила:

– Дитя мое, вы точно сошли ко мне прямо оттуда. Вам даже не надо мушек. Сама природа позаботилась. Эти два родимых пятнышка... До чего они в стиле вашей капризной и хрупкой красоты...

– О, Ваше Величество, вы так незаслуженно милостивы и добры ко мне, – отвечала маленькая Зита с кроткой улыбкой, с дивным сиянием глаз и чуточку искривленной линией маленьких, едва подкрашенных губ.

– Дитя мое, не знаю, добра ли я, но вы сейчас увидите, что я умею быть жестокой. У нас с вами будет сейчас очень серьезный и для нас обоих очень тяжелый разговор.

И это предисловие, и тон, каким оно было сказано, и лицо Маргареты, хотя по-прежнему обаятельно-ласковой, но уже какой-то другой, – все это вместе омрачило Зиту, застало врасплох, и не только ее, но и ее улыбку. Линии губ, выражение черт еще не успели встретить готовящийся неведомый зловеющий удар, но глаза уже потемнели тревогой, как подернутые тучами небеса.

Не давая опомниться, выскользнуть из-под уже создавшегося настроения, королева продолжала быстро, убедительно и едва ли не впервые в жизни своей – горячо:

– Дитя мое, я знаю все! Сначала, помните, я относилась к вам с недоверием, я изучала вас, ревниво изучала, как изучает мать избранницу своего сына. Потом, когда я убедилась в глубине вашего чувства, я полюбила вас! Настолько полюбила, что если бы Адриан не был

королем, а его младшим братом, моим вторым сыном, я первая, слышите, первая благословила бы ваш морганатический брак. Но, к сожалению, у меня один сын-король, король, до сих пор еще холостой. Это невозможно. Династия не может пресечься из-за того, что монарх влюблен в свою подданную, к тому же еще супругу своего министра. И вот, дитя мое, если вы действительно любите настоящим чувством, готовым на самопожертвование, – в чем я ни на один миг не сомневаюсь, – вы принесете свое личное счастье... – королева не договорила, увидев крупные, заблестевшие на ресницах молодой женщины слезы. Углы губ Зиты подергивались. Подергивалось личико. Гордость и сильная воля, сильная в этой миниатюрной женщине, удерживали ее от рыданий.

С сочувствием и затаенной тревогой наблюдала королева происходившую в Зите борьбу. Сейчас, в маленьких ручках своих, баронесса держала участь династии Ираклидов. Победит в ней эгоизм женщины, не выпускающей своего, – рухнет план королевы Маргареты и нунция Черетти.

И пятидесятилетняя волшебница, привлекая Зиту к себе, обняв, покрыва поцелуями ее щеки, большой выпуклый лоб, сияющий золотом, яркие, густые волосы.

– Дитя мое, дитя мое... Мне так же больно, как и вам.

Зита, на ласку отвечая лаской, прижала к губам сначала одну руку матери Адриана, потом другую, потом, решительным движением отстранив их, отстранилась сама, как стальная пружина, одним движением выпрямившись. Это уже не была готовая разрыдаться маленькая женщина, линия губ уже не была детски-капризной, а выражение сухих, еще более потемневших глаз было почти вызывающим. Какие-то снопы огненно-синих искр метали эти глаза.

– Ваше Величество, я бросила жребий. Я взяла в руки себя, свое сердце и готова поступиться своим личным счастьем, моим чувством, которое до сих пор было всего дороже на свете. Приказывайте...

– Какие слова... Зита, я могу только просить, и я прошу вас... – королева запнулась. – Боже, как это мучительно... Зита, я не скажу ничего больше... Вы умная, чуткая, и эти ваши чуткость и ум подскажут вам...

– Они уже мне подсказали, – твердо подхватила Зита. – С этого момента мое поведение будет по внешности таковым, чтобы Его Величество имел полное основание считать меня дрянной, гадкой, недостойной. Отвернувшись от меня с презрением, вылечившись от своей любви, он бросится туда, куда уже давно зовут его долг монарха и долг последнего из династии Ираклидов... Клянусь, я сделаю так. Клянусь! Довольны ли вы мною, Ваше Величество?..

Королева молча смотрела на нее. Смотрела, как до сих пор еще никогда ни на кого не смотрела. До сих пор это был взгляд сверху вниз. А сейчас перед ней было существо, не только равное ей, но и высшее, высшее через принесенную жертву, через свой подвиг, такой благородный, прекрасный, такой величественный. Маленькая баронесса, изящная фея из балета кукол, выросла вдруг до таких исполинских размеров, что королева сама себе показалась рядом с ней такой маленькой-маленькой.

И, отпуская Зиту, она уже не утешала ее. Теперь ее высокая, больная душа не нуждается ни в чем утешении. Да и всякое утешение будет лишним, ничтожным. И королева ограничилась безмолвным поцелуем в лоб, а баронесса Рангя – таким же безмолвным реверансом.

16. Условия Зиты

Таких, как Зита Рангья, называют «дитя любви». Она была незаконной дочерью герцога Тосканского и Паулины Гварди, танцовщицы. Мать дала своей дочери отличное воспитание, образование и, покончив с артистической карьерой своей уже чуть ли не на пятом десятке, отяжелев, потеряв гибкость движений и пластику, переехала из Италии в Бокату, предполагая открыть здесь балетную школу.

Балетная школа Паулины Гварди наполнилась учениками и ученицами. Преподавались не только характерные и классические танцы, но и салонные. Тайком, под секретом, постигал премудрость всех этих модных фокстротов и шимми не кто иной, как сам Рангья, министр путей сообщения, желавший превратить себя из неуклюжего леватинского увальня в светского человека. Тяжелый, неповоротливый министр потел, заплетаясь ногами. Потел над ним балет-мейстер, говоривший потом директрисе, что охотнее предпочел бы иметь учеником своим лесного медведя, чем министра путей сообщения.

Паулина Гварди сумела хорошо поставить себя в столице Пандурии. Ее частые, в уютном особняке, вечера посещались и артистами, и гвардейской молодежью, и финансовой знатью, и людьми общества. Миниатюрную Зиту окружали блестящие поклонники. Некоторые ухаживали за ней из снобизма как за дочерью герцога из владетельного дома, и незаконной хоть, но все же дочерью.

Увлекся ею по-своему, как мог и как умел, и господин Рангья. Восточные маслянистые глаза его, плотоядно блесевшие в мякоти набухших, тяжелых век мысленно раздевали Зиту, как раздевали по-настоящему предки господина министра, левантийские пираты, своих рабынь, захваченных где-нибудь на дальнем чужом берегу.

Для ценителя, подобного министру путей сообщения, Зита была слишком хрупка и тонка. Ее узкие, покатые, девичьи, как бы еще недоразвившиеся, плечи были в его глазах скорее, пожалуй, минусом, чем плюсом.

Ее небольшая грудь – то же самое. Но линии бедер и ног, в особенности бедер, упругие, чистые, законченные линии, говорящие, что девушка эта может распуститься в великолепную женщину, в любовницу, волновали его.

И когда он проверял железнодорожные сметы, вместо прозаических скучных цифр видел красивые бедра Зиты!..

Рангья был не из тех мужчин, которые вздыхают, объясняются в любви, ищут взаимности... Человек практический, деловой, он решил побеседовать прежде всего с мамашей. Он сказал ей:

– Вот что, почтеннейшая и уважаемая синьора Гварди, мне нравится ваша дочь, и я буду очень рад, если вы благословите наш брак. Я еще далеко не стар, мне всего сорок четыре года. Из всех министров Его Величества – я самый молодой. Ваша дочь образованная, изящная и умная особа, со вкусом одевается, умеет держать себя в свете. Я не обещаю ей какой-нибудь сказочной роскоши, но у нее будут бриллианты, парижские туалеты и как супруга министра она попадет ко Двору. Понимаете, ко Двору, уважаемая синьора Гварди! Это должно щекотать ваше материнское самолюбие. Многие дамы всю жизнь тщетно добиваются высокой чести быть принятыми у Их Величеств. Что же вы скажете на все это?

– Что я скажу?.. – развела руками директриса балетной школы. – Я ничего не могу обещать, не переговорив с Зитой. Пока ее сердце свободно вполне, но я не знаю, бьется ли оно учащеннее по отношению к вам, господин министр.

Господин министр цинично улыбнулся в ответ смуглым, носатым лицом своим.

– Э, полно, синьора Гварди! Учащенное биение сердца – все это весьма возвышенно, может быть, верю охотно, верю, но жизнь, жизнь, которая держит нас в лапах, говорит совсем

другое. Будем откровенны: Зита ваша – не девушка, а жемчужина... Да, да, это не подлежит никакому сомнению. Но у жемчужины этой нет имени и надлежащей оправы. Я дам ей и то, и другое. Я вижу, с нее не спускают глаз молодые красивые гвардейцы, звенящие шпорами. Но – вы дама не глупая, вы сами знаете цену этим ухаживаньям...

Синьора Гварди была женщина добрая. Единственную, дочь любила хорошей, материнской любовью, но Рангя соблазнительными речами своими вскружил ей голову.

Мать объяснилась с дочерью, полагая, что придется выдержать немалую борьбу, уговаривать, убеждать, умолять. Но, к великому изумлению Паулины Гварди, ни уговаривать, ни умолять не пришлось. Глядя на нее в упор большими, светлыми, постоянно меняющими цвет глазами, Зита спросила.

– Тебе этого очень хочется, мама?

– Дитя мое, при чем здесь я? Тебе делает предложение господин министр, а не мне, – смутилась синьора Гварди, избегая смотреть на дочь.

– Мама, ты должна ответить на мой вопрос, так же прямо, как я его поставила... Тебе этого очень хочется?

– Откровенно говоря – да, – еще более смущаясь, тихо вымолвила мать. – Я нахожу эту партию блестящей... Правда, Рангя не так молод, он не красавец, но это солидный человек с большим положением. Ты будешь бывать при Дворе.

– Я буду бывать при Дворе... – со странной загадочностью, как будто вслух думая, повторила Зита, и, встрепенувшись, уже совсем другим тоном закончила. – хорошо, мама, я согласна...

Паулине Гварди следовало радоваться – победа оказалась такой легкой. Но Паулина растерялась. Может быть, потому именно и растерялась, что уж как-то чересчур легка оказалась она, эта победа.

И господин Рангя как-то многозначительно зашевелил черными, крашеными усами, узнав о согласии Зиты быть его женой. Правда, он вовсе не такого уже скромного мнения о своей персоне, о своих достоинствах, о своем положении одного из первых сановников в королевстве, но и он, при всем самомнении, никак не ожидал такой быстрой капитуляции от хорошенькой, избалованной, обаятельной Зиты.

Но капитуляция оказалась имеющей весьма и весьма острые и пренеприятные шипы.

Зита прямо заявила своему жениху:

– Вы предлагаете мне стать вашей женой? Хорошо, я согласна, господин министр, но при одном условии: спальни у нас будут разные, и дверь моей спальни будет закрыта для вас до тех пор, слышите, пока я этого захочу.

– Хе-хе... Это милая шутка, – попробовал засмеяться Рангя, хотя ни голос Зиты, решительный, твердый, ни такое же твердое, решительное выражение лица ее не располагали к смеху.

– Нет, господин министр, такими вещами не шутят.

– Мм... позвольте, как же это, в самом деле, так, – замямлил Рангя, сбитый совсем с толку, – ну, хорошо, допустим, я согласен... А сколько времени будет длиться этот иску? Когда вы пожелаете впустить меня в свою спальню?..

– В свое время, а может быть, и раньше, – чуть-чуть улыбнулась Зита, но не глазами, а искривленной линией маленького рта.

– Что такое? – ничего не понял Рангя.

– Я не могу установить точного срока, указать день, когда это произойдет. Может быть, не скоро, а может быть, и это вернее всего, – никогда!..

– Я, в таком случае, не понимаю...

– Не понимаете? Зачем же, в таком случае, вам, господин министр, жениться на мне? – подхватила Зита. – Я вам сейчас скажу, зачем. Только вы не обижайтесь, пожалуйста, я человек

откровенный и почти всегда говорю то, что думаю... Вы – министр, но министр, не чувствующий под собой почвы. В Пандурии вы чужой человек, и в бюрократических, и в светских кругах, у вас нет связей ни в высшем обществе, ни при Дворе. Вас терпят как хорошего инженера и знающего свое дело министра. У вас есть большая казенная квартира, но у вас нет «дома». Я же, войдя в эту казенную квартиру, создам, сумею создать «дом». У меня, госпожи Рангья, будут бывать люди, которые не переступили бы порога вашего, да и вас к себе на порог не пустили бы... А самое главное, будучи принятой ко Двору, я сумею поднять там ваши до сих пор не очень высоко стоящие акции... Ну, вот теперь не угодно ли решить, нужна ли я вам даже при условии отдельной спальни?..

Ошеломленный Рангья с минуту не мог произнести ни звука. Потом вдруг ни с того, ни с сего:

– Сколько вам лет?

– Девятнадцать...

– Девятнадцать. И уже такая... такая умная! – вырвалось у него с искренним восхищением.

– При чем тут возраст, господин министр? Это уже от Бога – ум... А если измерять его выслугой лет, то черепахи, попугаи и слоны, живущие двести – триста лет, оказались бы в числе самых умных существ нашей планеты... Вы согласны?

– Отныне я буду согласен со всем, что бы вы ни сказали.

– Вот видите, как хорошо! Отныне я приобрела в вашем лице покорного друга... Итак, вы принимаете мои условия?

– Подписываюсь обеими руками. Но вы действительно создадите мне «дом» и укрепите мое положение при Дворе? У вас там имеются связи?..

– И есть, и будут! Будут большие связи, господин министр... Я, невзирая на девятнадцать лет свои, столь удивившие вас, я никогда ничего не говорю на ветер... Впрочем, в этом вы сами скоро убедитесь.

Рангья долго не мог оправиться от изумления. Этот приехавший с востока левантинец вывез оттуда вполне определенные понятия о женщине: что-то среднее между невольницей, гаремным предметом наслаждения и выючной скотиной. К Зите он подходил если и не с таким азиатским масштабом, то, во всяком случае, смотрел на нее как на живую игрушку. Он заведет ее у себя, нарядную, изящную игрушку, и все будут любоваться ею. Он убьет одновременно двух зайцев – удовлетворит самолюбие выскочки и свое сластолюбие человека, до совершеннолетия ходившего в феске. И вдруг эта миниатюрная девушка в ярко-золотистом сиянии густых волос оказалась женщиной неукротимой воли, железного характера. И если кто в чьих руках будет игрушкой, так это он, Рангья, в ее маленьких пальчиках, а не она в его волосатых коричневых лапищах. О гаремных утехах придется забыть, но гаремные утехи могут быть и на стороне, а взамен их она даст ему необходимые связи и благосклонность Их Величеств.

17. Брачная ночь

Рангя хотел самой пышной свадьбы, Зита же, наоборот, самой тихой, скромной. Вышло, как она хотела. Кроме шаферов и свидетелей – никого из посторонних. Обвенчались в старинной, еще венецианцами построенной в двенадцатом веке церкви на окраине города, а потом обедали у синьоры Гварди.

«Молодой» был во фраке, новом, дорогом, сидевшем коряво на его тяжелой, сутуловатой фигуре. На груди горела фальшивыми бриллиантами звезда. И хотя она была не пандурского происхождения, – в Пандурии он еще не успел заслужить никаких знаков отличия, – а турецкого, однако Рангя чрезвычайно гордился ей.

За обедом один из свидетелей спросил:

– Господин министр, это персидская звезда?

– Ошибаетесь, сударь! – обиделся он. – Стал бы я носить персидскую звезду!.. Персидские звезды носят разбогатевшие евреи, фокусники и парикмахеры. Эта звезда пожалована мне была Халифом всех Правоверных, Его Императорским Величеством покойным султаном Абдул-Хамидом в знак внимания к моим особенным услугам.

– Но, господин министр, ведь при Абдул-Хамиде вы были совсем еще молодым человеком! – воскликнул свидетель.

– При чем тут молодость, и мало ли какие бывают услуги? – фыркнул из-под усов Рангя и отвернулся.

За этим свадебным обедом он много пил, вливая в себя и коньяк, и шампанское, и ликер. Он побагровел, как багровеют люди с темной кожей. Наливались кровью глаза, а тяжелые, набухшие веки тяжелели и набухали еще больше.

После обеда Рангя в казенном автомобиле увез молодую супругу свою на казенную министерскую квартиру, где все, начиная с официальной роскоши, было такое холодное, неуютное. Среди этих безвкусно убранных анфилад спальня Зиты являлась каким-то оазисом в пустыне. За несколько дней до свадьбы Зита придала этой комнате вид теплого гнездышка, расставив мебель, развесив ковры, затянув углы и стены драпировками и заменив «министерские» лампочки интимными, домашними. Вместо белого, резкого света струилось что-то мягкое, нежное, в таких же мягких и нежных полутонах. И вот она в спальне у себя, не в девичьей комнате, а в спальне замужней дамы. Как это странно все... И эта постель в кружевах, и тонкое кружевное белье. Казалось бы, из пены этих кружев в истоме потянутся белые, точеные руки для объятий, – вообще спальня эта вместе с кроватью на возвышении будет алтарем любви, пламенных ласк, наслаждений... А между тем...

Сделав ночной туалет, отпустив горничную, Зита лежала, запрокинув красивые, в меру полные руки свои за голову. В широкой большой кровати она казалась такой маленькой, затерянной. Вся комната была во мраке, и лишь у изголовья, на тумбочке, горела мягким оранжевым светом небольшая лампа. И на белые плечи и грудь Зиты ложились теплые, оранжевые отсветы.

Широкий взгляд потемневших глаз под темными дугами бровей устремлен перед собой. Чуть-чуть вздрагивают тонкие ноздри небольшого носа с едва заметной горбинкой.

Вместо полумрака спальни с затаившимся безмолвием, – жаркий солнечный полдень. Это было два года назад...

Это было пятнадцатого мая... На площади Беллоны, за городом, торжественный парад, первый после войны. Зита, недавно приехавшая с матерью в Бокату, отправилась с ней смотреть парад. Они сидели на лучших местах деревянного амфитеатра. Уже правильными геометрическими фигурами выстроены были войска, но Зита не видела их. Ее внимание привлек молодой всадник в парадной гусарской форме, в высокой собольей шапке, с белым султаном и

с леопардовой шкурой за плечами. Он был впереди всех. За ним – блестящая конная свита. В молодом всаднике, красиво и гордо сидевшем на белой нервной арабской лошади, Зита узнала короля. Узнала как-то не сразу, а через несколько секунд, узнала по фотографиям и портретам.

Ей почудилось, что, проезжая шагом мимо трибун, король бросил на нее взгляд темных миндалевидных глаз своих из-под надвинутой на брови меховой шапки. Этот всадник, уже обвеянный славой венценосного вождя и героя, почудился ей каким-то прекрасным полубогом.

Смутно слышала она какие-то командные слова, точно разрезавшие пополам все поле Беллоны, смутно видела, как ее полубог, а за ним вся свита помчались галопом вдоль фронта.

В тумане уехала Зита с поля Беллоны. С тех пор два года была верна своей мечте. Два года спустя Рангья сделал ей предложение, и она согласилась. Через этот брак Зита надеялась мечту свою претворить в действительность. Манящий сон сделать подлинной осязаемой явью...

Вдруг эти мечты разлетелись, как стая белых чаек, вспугнутая охотником. Охотником, вспугнувшим мечты маленькой Зиты, был неожиданно появившийся в спальне господин Рангья.

Зита, веря его обещанию, веря, что он сдержит словесный договор их, не нарушит его, не заперлась в своей спальне. Этим воспользовался сановный супруг.

Лукавый левантинец, обещая не предъявлять к Зите супружеских требований, лгал, уже тогда лгал, зная, что не сдержит слово. А тут еще коньяк и шампанское, окончательно пробудившие зверя в этом грубом животном, получившем специальное образование в Бельгии. О, он не так наивен! Целых шесть недель мечтать о ней и не сметь подойти к ней, когда она стала его женой... Слово?.. Ха-ха.

И грузный, в халате, с обвисшими, липкими от густого маслянистого бенедиктина усами, ввалился он в спальню, вспугнув не только грезы Зиты, но и ее самое...

После знойного поля Беллоны, после всадника на белом арабском коне, всадника, за спиной которого развевалась на галопе леопардовая шкура, – неожиданный-негаданный визит левантинца в халате и туфлях был слишком уродливой сменой впечатлений.

Застигнутая врасплох, Зита инстинктивным движением натянула до подбородка стеганое атласное одеяло. Глаза ее сделались такими большими и темными, – все личико ушло в эти глаза.

– Вы? В таком виде?! Что вам угодно? – спросила она.

– Я хочу вам сказать одну вещь, – подмигнул Рангья, желая притвориться более пьяным, чем был на самом деле, и этим маневром своим обнаруживая, кроме путевых, еще и стратегические таланты. Маневр заключался в нелепом для его фигуры прыжке, отрезавшем Зиту от «груши» электрического звонка, лежавшей на тумбочке. Между Зитой и звонком вырос господин министр.

– Я хочу вам сказать одну вещь, – повторил он с новым подмигиванием.

– Оставьте меня! Поговорим завтра, когда вы будете в другом виде...

– А если я желаю сейчас? – и он шагнул на возвышение и уже стоял вплотную у самого изголовья.

Страх и презрение чередовались во взгляде молодой женщины. Когда Рангья был трезв, этот взгляд укрощал его. Теперь же на пьяного не действовал укрощающе. Тем более, господин министр уже дома зарядил себя еще для храбрости полубутылкой шампанского.

– Что вы на меня так смотрите? Вы не Медуза, и я не окаменею... Но к черту всякую дипломатию! К черту! Я пришел не для того, чтобы говорить, а чтобы делать... Я женился не ради прекрасных глаз испанского короля и не ради ваших еще более прекрасных глаз, а чтобы получать то, что мне, как мужу, полагается... Слышите, вы, принцесса-недотрога...

– Как вам не стыдно! Опомнитесь! Я прощаю вас, вы пьяны... Прощаю с условием... выйдите, выйдите сию же минуту!..

– Что, – вскипел он, – условия? К черту условия! Надоели мне ваши условия...

– Но вы же обещали! – возмутилась Зита.

– Обещали, обещали... – передразнил он, – обещания даются, чтобы их не исполнять...

Глупцы верят, а умные не исполняют. Однако надоели мне все эти предисловия. Слышишь?.. Слышишь? – уже хрипел он, переходя на «ты», разжигая себя, опьяняясь еще более.

И, багровый, отвратительный, с распахнувшимся на животе халатом, навалился он, крепко и больно схватив Зиту за девичьи белые груди. Но если он думал встретить в ней по внешности слабое и хрупкое существо, он ошибся. Мать, хотя и не готовила дочь в балетные артистки, но с детства развивала ее ритмической гимнастикой и танцами: для своего роста и своих миниатюрных пропорций Зита была сильна, очень сильна. Пожатие маленьких пальцев ее не всякий мужчина выдерживал.

Вот почему Рангя встретил энергичное сопротивление, сначала ошеломившее его. Зита молча отбивалась, отбивалась как-то по-мужски, не царапаясь, не кусаясь, а нанося противнику своему твердыми, упругими кулачками удары в грудь, в лицо, подбородок, глаза. Рангя рассвирепел от боли. Сейчас для него насилие было не только удовлетворением похоти, но и мстостью за эти градом сыпавшиеся удары. Пыхтя, напрягаясь, скрежеща зубами, он схватил свою молодую жену за тонкую, гибкую талию, приподнял, перевернул и бросил лицом и грудью на подушки. Его ослепили длинные белые ноги, ослепили упругие, молочно-розовые бедра, обнаженные, такие близкие... До сих пор он только угадывал их под платьем, но не угадывал, что у тоненькой миниатюрной Зиты могут быть такие сильные ноги вполне развившейся женщины, и Рангя, решив овладеть ею, упал на Зиту, закрыв и придавив ее своим грузным, тяжелым телом...

Омерзение и ужас удесятерили энергию Зиты, превратив ее в одну стальную пружину. И она так распружинилась вся, что сброшенный Рангя повалился рядом с ней на спину и тотчас же получил удар кулаком в переносицу, удар, высекавший из глаз искры и повлекший за собой довольно-таки обильное кровоизлияние.

Воспользовавшись тем, что противник, на минуту ослепленный и оглушенный, выбыл из строя, Зита, вскочив с кровати, босая, в тонкой кружевной сорочке, сквозь которую, как сквозь паутину, угадывалось ее точеное тело, подбежала к тумбочке и, овладев звонком, почувствовала себя уже совсем победительницей. Теперь она могла диктовать свои условия. И продиктовала:

– Если вы сейчас же, немедленно не уберетесь из моей спальни, я на всю квартиру подниму трезвон! Прибежит горничная, сбегутся лакеи и завтра вся столица узнает, каким скандалом сопровождалась брачная ночь министра путей сообщения... А я думаю, подобный скандал несколько не улыбается нам обоим, вам же в особенности... Если я вас очень больно ударила, – я защищалась, а в защите все средства хороши, только бы привели к победе. Кроме того, да послужит вам уроком этот маленький прием бокса, которому научил меня в Милане знаменитый Кастаньяро. Надеюсь, теперь вы забудете дорогу сюда... На всякий же случай предупреждаю: я буду тщательно запираяться, а под подушкой у меня будет лежать револьвер. Это все между нами. А для света, на людях, мы будем супружеством, если и не пламенеющим взаимной любовью, то, во всяком случае, внешне корректным и приличным. Вот и все. Запомните и убирайтесь... Мне холодно...

Уничтоженный Рангя, поднявшись с кровати, запахивая полы своего халата и прижимая к окровавленному лицу платок, медленно, тяжелый, сутуловатый, двинулся к дверям, как смертельно раненный дикий кабан, прорывающийся сквозь густые темные заросли...

Уже взявшись за ручку двери, он бросил последний взгляд на свою жену. Последний. Он больше никогда не увидит ее в этой сорочке-паутинке, такую соблазнительную, с белым девичьим покатым плечом, с которого спустилась чуть ли не до локтя пена кружев. Он видел и чувствовал ее такую так близко в первый и последний раз. Он сравнил ощущения свои с

такowymi же праотца Адама, покидавшего врата Эдема. Только вместо ангела с мечом была Зита, все еще державшая наготове пуговку электрического звонка. И сейчас, именно сейчас, казалось, что на него смотрят не светлые, капризно меняющие свой цвет глаза Зиты, а глаза Медузы...

18. Их роман

Хотя ценой совместных усилий Зиты и ее супруга сделано было все, чтобы скандал не вышел за пределы четырех стен спальни, однако же он проник в общество и, если не во всей своей пикантной красоте, то все же в салонах Бокаты определенно говорилось, что маленькая Зита как была, так и осталась девственной, и Рангья, желавший настоять на своих правах мужа-собственника, потерпел фиаско. О Зите заговорили как о феномене, вроде сиамских близнецов. Зита разжигала любопытство мужчин. Всегда окруженная поклонниками, она теперь не имела от них отбоя. Все самое родовитое, блестящее, богатое, щеголяющее золотым шитьем придворных и гвардейских мундиров, было у ее маленьких ножек.

Обещания Зиты, данные жениху какой-нибудь месяц назад в квартире Паулины Гварди, сбывались одно за другим. Рангья все больше и больше проникался уважением к Зите. Убеждался, что миниатюрная золотистая блондинка эта не бросает своих слов на ветер. Действительно, благодаря жене Рангья приобрел такие связи в обществе, о которых и мечтать не смел раньше. Действительно, благодаря Зите положение его при Дворе, где она имела успех, упрочилось. Левантинец-выскочка темного происхождения так мечтал попасть в высшие сферы. И он попал туда, попал не как министр, а как муж очаровательной Зиты. Королева Маргарета обласкала ее. Даже сдержанно-застенчивая принцесса Лилиан отнеслась с мягкой, ободряющей благосклонностью к госпоже Рангья. Что же касается короля, то он с первой же встречи обратил на нее внимание. Это было на одном из придворных балов. Хотя Пандурия считалась страной демократической, однако придворный этикет отчасти напоминал традиции испанских Бурбонов и Габсбургов. Например, дамы должны были целовать руку монарху Пандурии, как это принято в Испании. Только происхождение этого обычая другое, нежели при мадридском Дворе.

Династия Ираклидов, вышедшая из глубины азиатских степей, принесла в Европу и свои азиатские нравы. Пандурские женщины как низкие существа, как рабыни, подобно всем восточным женщинам, смиренно подползая на коленях, целовали руку своим вождям. Спустя тысячу лет изменилась лишь форма, традиция же осталась. Дамы высшего пандурского общества не подползали к своему королю на коленях, а, сделав по всем правилам глубокий реверанс, которому учил их балетмейстер, подходили к руке Его Величества.

Если у Зиты осталось впечатление волшебного сна от воинского парада на поле Беллоны, то ее первый дворцовый бал чудился ей еще более упоительно-волшебным. Она даже не могла вспомнить, в какую форму был одет король. Он весь был для нее тем же самым сияющим полубогом, мчавшимся вдоль фронта с леопардовой шкурой за спиной.

Церемониймейстер маркиз Панджили в тяжелом от густого золотого шитья, подобном кирасе, вицмундире, в коротких панталонах и в белых чулках, обтягивавших его дряблые икры, жеманный, манерный, с напудренным лицом, напоминающий версальского петиметра, не без величия играя своей церемониймейстерской тростью, называл королю представлявшихся дам. И когда пришла очередь госпожи Рангья, она вспыхнула, вся так вспыхнула, что горячо покраснели и ее большой выпуклый лоб, и лицо, и задрожавший подбородок, и шея, и обнаженные плечи, и полуобнаженная грудь. А она, смутно услышав произнесенную фамилию свою, смутно видела красивое, удлиненное, смугло-матовое лицо с темными миндалевидными глазами. Это лицо ослепили сверкнувшие в улыбке ослепительные зубы. И она улыбнулась в ответ. Улыбнулась как-то восхищенно-кротко, умоляюще, словно отдавая себя всю молодому человеку, властным жестом протянувшему ей свою руку, чтобы она коснулась ее алыми, горячими, трепещущими губами...

Потом, уже в разгар бала, сам король подошел к ней:

– А я вас помню. Два года назад я видел вас на параде. С какой-то дамой вы сидели в трибунах. На майском солнце ярким золотом ваши волосы горели, как сияние...

– О, Ваше Величество, неужели вы меня помните? – пролепетала она, вся зардевшись вновь, и вновь что-то умоляющее, кроткое было в потемневших глазах, ставших из светлосерых темно-синими, и в тонкой линии губ чуть-чуть искривленного и от природы, и от нервной судороги маленького рта...

Адриан уже отошел к другой даме, а Зита продолжала стоять, смущенная, счастливая каким-то неземным блаженством, не замечая подобострастно вертящегося около нее мужа, не замечая завистливых поздравлений и приветствий.

Так начался их роман.

Потерявший невинность свою в опытных объятиях маркизы Панджили, престолонаследник Пандурии недолго оставался аскетом. Горячая, буйная кровь степных наездников не давала покоя, искала выхода. И, сосланный отцом и матерью во Францию, подальше от страшной Мариулы, Адриан, будучи воспитанником Сен-Сирской школы, увлекался такой же, как и он сам, юной танцовщицей из Большой оперы.

Именно увлекался. Его не тянуло к женщинам вообще. Его тянуло к той избраннице, в которую он влюблялся или которая хотя бы нравилась ему. И в свой Сен-Сирский период и позже, когда из престолонаследника сделался королем, он, отдавая необходимую дань темпераменту, однако, не подчинялся ему всецело.

Между ним и женщинами становился спорт. В верховую езду, в теннис, в фехтование, в плавание, в легкую атлетику, покрывавшую мускулами стройное, молодое тело – вот во что и на что уходил избыток здоровья и животной производительной силы. Спорт оберегал его от распущенности, зовущейся развратом, или от разврата, зовущегося распущенностью. И этот же самый спорт, полный физического движения, полный близкого, облагораживающего общения с природой, сберег и сохранил чистую душу Адриана, сберег и сохранил ее для настоящего, хорошего чувства.

Таким настоящим, хорошим чувством полюбил он Зиту. Будь у нее другой супруг, Адриан, пожалуй, затаил бы в себе все то, что внушала ему Зита, затаил бы из гордости. Он презирал бы сам себя, если б, пользуясь своим исключительным положением, взял в любовницы жену одного из министров. Делить ее вместе с ним? Какая гадость! И еще большая гадость сознавать, что эта жена отдается ему потому, что он король, король, от которого оба супруга ждут великих и богатых милостей.

Но в данном случае все, решительно все было совсем по-другому. Он знал, что Зита влюбилась в него давно. Влюбилась, даже не смея мечтать о встрече. Знал, что она еще невинная девушка. Знал, что делить ее ни с кем не придется и что Рангья внушает ей непреодолимое отвращение. За всю четырехлетнюю связь единственный раз обратилась к нему Зита с личной просьбой, да и то с каким смущением и с какими оговорками, и вообще чего это ей стоило! Рангья умолял ее на коленях, униженно целуя отдергиваемые руки, умолял выхлопотать ему у короля баронский титул. Еще бы, непреходимо глупо было бы, с его точки зрения, не использовать роман призрачной жены своей с Его Величеством...

Он притворялся, – ему больше ничего не оставалось делать, – что закрывает свои восточные, в тяжелых набухших веках, глаза на отношения между Зитой и Адрианом. На самом же деле он ревновал жену к ее царственному любовнику. Ревновал по-своему, с глухим, скрытым бешенством левантинца, навсегда обожженного знойным смирнским солнцем. Никаких тонких, извилистых переживаний в его ревности не было. Это была ревность восточного рабовладельца. Не самый факт измены мучил его, а мучило, что Зита, сломившая его, покорившая раз навсегда силой своей воли, умевшая быть с ним жестокой, недостижимой, презирающей, эта самая Зита с Адрианом была детски-женственна, кротка, мягка, нежна. И всегда потом, всегда сопоставлял Рангья два момента...

Один – когда Зита прогнала его, гневная каким-то холодным, уничтожающим гневом, такая сильная в миниатюрной хрупкости своей. Другой – когда на первом ее придворном балу она улыбалась своему полубогу с потемневшими, восхищенно-умоляющими глазами и таким же восхищенным маленьким ртом...

О, министр путей сообщения никогда не забудет этой знаменательной, бьющей его, как хлыстом, параллели. Никогда... Только бы представился удобный случай, он отомстит...

19. Жребий брошен

Все надежды, все мечты о будущем, «их будущем», разбивались о королевскую мантию Адриана, как если бы это была не мантия, а гранитная скала.

Ах, зачем он король, а не самый обыкновенный смертный? До чего все было бы легко и просто! Она развелась бы со своим министром и ушла бы к тому, кого полюбила. Но в данном случае, в том-то и весь ужас, что монарх не может, не имеет права остаться холостяком навсегда. И как ни оттягивал Адриан женитьбу свою, дамокловым мечом висела она над ним.

Зита хорошо знала взгляды своего Адриана. Предполагаемая, неизбежная в конце концов женитьба короля – это болезненное место для обоих – неоднократно бывала темой бесед. Адриан высказывался так:

– Не будем закрывать глаза на то, чего, к сожалению, никак не избежать. Но это будет брак не по любви, – я люблю тебя и только тебя... Дорогая Зита, нам пришлось бы с тобой расстаться, хотя бы ценой большого неутешного для меня горя...

– Для нас обоих, – с тихой тоской и умоляющей, кроткой, светящейся улыбкой добавляла Зита.

– Для нас обоих, – повторял он. – Я не считаю грехом изменить нелюбимой жене, чуть ли не силой навязанной мне, только для того, чтобы у нее родился от меня сын. Такая измена – не грех. Но я слишком люблю тебя, слишком берегу и ценю мое к тебе чувство... Из вынужденных объятий далекого и чуждого мне существа в тот же самый день или на другой – не все ли равно – ласкать тебя... брать твои ласки?... Никогда. Может быть, это смешно, глупо... Может быть...

После некоторой паузы, вдумчивой, длительной, как бы что-то собирая в глубине себя, Зита тихо, по обыкновению тихо, ответила:

– Нет, дорогой, это не смешно, – это прекрасно! Я ничего другого не ожидала услышать... Ты рыцарь, рыцарь с головы до ног. Ты именно тот самый очаровательный принц, который волновал мое детское воображение в красиво переплетенных книжках с наивными цветными картинками. Но я, Адриан, я другая, чем ты... Я хуже тебя, и любовь моя – более грешная... Откровенно говоря, я сама не знаю, что меня больше влечет к тебе – мужчина или человек с высокой, благородной душой... Иногда мне кажется – и то, и другое вместе, неразделимое, гармонично переплетенное, а иногда...

И умолкнув, стыдливо, робко-умоляюще, горячо вспыхнув вся, спешила она спрятать на его груди личико, спешила крепко прильнуть к нему и пышно-золотистой головкой, и всем гибким, трепещущим телом.

Чтобы удержать Адриана, готова была Зита делить его между собой и будущей королевой. Только бы не ушел! Когда он уйдет, и свет, и солнце погаснут в ее меняющихся глазах.

От королевы Зита уехала в министерском автомобиле. Шофер спросил:

– Баронесса прикажет ехать домой?

– Нет, нет! – испугалась Зита.

Одиночество будет угнетать ее еще больше. Нет, пусть будет улица, толпа, шум, солнечный свет. Она сказала шоферу:

– Я хочу подышать воздухом.

Напрасно думала, что прогулка развеет хоть немного мрак больной, сжавшейся в нервный комочек души. Наоборот, всюду разлитая кругом яркая жизнерадостность беспечным ликующим равнодушием своим лишь оттеняла горе Зиты. Она никак не могла понять: сейчас заставили ее, – сама себя заставила, – уйти, отречься от любимого человека. В апартаментах королевы в несколько минут совершилось что-то громадное, непоправимое. Разбилась жизнь, жизнь ее, Зиты... А звенящие трамваи, пешеходы, коляски, автомобили спешат, как всегда. И, как всегда, зыблется жидким серебром густая синь моря. И, как всегда, прекрасны темно-

зеленые колоннады игольчатых кипарисов мусульманского кладбища. Зита машинально отвечала на поклоны мужчин, жадно впивавшихся в нее глазами, дам, кивавших с лицемерной заискивающей приязнью... По губам Зиты пробежала ироническая улыбка... Завтра, послезавтра, через несколько дней узнают они, что между ней и Адрианом все кончено. Узнают, что маленькая Зита уже не любовница Его Величества. О, как будут злорадствовать унижавшиеся перед ней дамы, и как сразу обнаглеют мужчины...

О, до чего теперь ей все равно это... Она презирает одинаково и тех и других, и тем и другим зная настоящую цену...

Шофер, пронизав европейские улицы и площади, взбирался по булыжной мостовой мусульманских кварталов, чтобы, спустившись к морю, помчаться вдоль берега.

Зита приводила в порядок невеселые мысли свои. Горевать она успеет. Горе будет затяжное, как трудная мучительная болезнь. А сейчас необходимо обдумать план действий. Он должен быть ясен и прост, убийственно прост для обоих – для нее, Зиты, и для него – Адриана. Необходимо, не теряя времени, выбрать кого-нибудь из толпы окружающих ее поклонников. И выбрать не лучшего, а наоборот, выбрать того, кого она никогда не приблизила бы к себе, никогда, если бы даже ее сердце было свободно, как ветер.

И, держа его на почтительном отдалении, на людях она умышленно будет себя компрометировать. Будут говорить, что маленькая Зита увлекается таким-то... Кем – она сама еще не знала. Не знала до случайной встречи минуту спустя. Обогнав ее на дорогом шестиместном «лимузине», раскланялся наилюбезнейшим образом плотный и крупный, бритый, полнолицый мужчина семитско-восточного типа.

Самый богатый человек во всей Пандурии, «эспаниол» – потомок евреев, выходцев из Испании, – дон Исаак Абарбанель. Покойный дед его, седобородый старик с красными, гноившимися глазами, в длинном халате и в лисьей шапке имел в Салониках меняльную лавку – полутемную щель, куда шумной гурьбой втискивались матросы превращать фунты, франки и доллары в турецкие лиры. А внук сетью банков своих покрыл всю Пандурию, поставлял военно-морскому и железнодорожному ведомствам уголь из своих копей и нефть из своих промыслов.

Больше двадцати многоэтажных домов в Бокате принадлежало дону Исааку. Принадлежали ему самые красивые женщины, которых он покупал, не жалея денег и бриллиантов, платя широко и щедро.

Зита Рангья весьма и весьма ему нравилась – и сама по себе, как может нравиться черномазому «эспаниолу» ослепительно-белая блондинка, и как любовница короля, и как жена министра.

Он готов был бы с ног до головы осыпать ее золотом, как Зевес осыпал Даная, за право хотя бы только показываться вместе с ней.

Он бывал в доме министра путей сообщения. Рангья гнулся перед ним, как гнулся перед всем, что было деньгами и властью. Исаак Абарбанель с цинизмом привыкшего все позволять себе, избалованного человеческой подлостью нахала говорил Зите с глазу на глаз:

– Баронесса, одно ваше слово из двух букв, – это слово «да», – и я окружу вас роскошью, какая не снилась еще никому в Пандурии. Одно только слово... Скажите «да». Ваш ответ?

– Мой ответ, – с холодным, презрительным спокойствием молвила Зита, – убирайтесь вон и не смейте больше переступать порога моего дома!

Он умолк смущенный, оторопевший, быть может, в первый раз в своей жизни. Это было на днях. А сегодня дон Исаак Абарбанель раскланялся как ни в чем не бывало...

И не только раскланялся, а еще велел своему шоферу замедлить ход. На что рассчитывал он? Самое большее – на гневный, презрительный взгляд светлых очей, умеющих, – он это знал, – метать великолепные синие молнии. На лучший конец, а на худший – пожалуй, не взглянет даже. Это еще оскорбительней.

– Мне все равно, мол, что столб фонарный, что ты, Исаак Абарбанель, со всеми твоими миллионами, банками, лесами, углем и нефтью.

Но каково же было удивление тридцатидвухлетнего богача, когда баронесса, приветливо ему кивнув, дала знак остановиться. Абарбанель с чрезмерной для его большой, полной фигуры поспешностью и быстротой, выскочив из своего «лимузина», разлетелся к ручке Зиты.

– Дон Исаак, вы меня совсем забыли... это нехорошо, – и она слегка погрозила ему.

Он с полминуты ничего не мог ответить. Ну, можно ли так издеваться над человеком? Давно ли она его так коварно выгнала. А сегодня вдруг: «Вы меня совсем забыли...»

Освободившись, однако, от одеревенелого состояния, Абарбанель, сообразив, что подули какие-то новые ветры, овладел собой. Тотчас же к нему вернулась обычная для него наглость избалованного человека.

– Я все эти дни был очень занят. Да и теперь... Но по одному мановению ваших волшебных пальчиков, баронесса, я готов забросить все дела и...

– И поэтому я жду вас сегодня от 5 до 6. Приезжайте, будем пить чай... поболтаем...

– О!.. – только и мог воскликнуть дон Исаак.

Поощряющий блеск лучистых глаз. Мелькнула затянутая в перчатку миниатюрная ручка, и дон Исаак остался один посреди набережной. Зита была уже далеко...

20. Террорист с волчьим лбом

Шеф тайного кабинета, сорокалетний румяный молодой человек с бегающими глазами и с бритой головой, Артур Бузни делал обычный утренний доклад свой премьер-министру.

– Близится высокаторжественный день, милый Бузни. Уже отовсюду съезжаются гости. Во дни таких торжеств эти революционеры всегда выкидывают какую-нибудь гадость... – в лучшем случае, в худшем же – совершают какое-нибудь очередное злодейство. Я всецело полагаюсь на вас, на вашу энергию, на ваше чутье и умение ориентироваться в обстановке...

– Постараюсь оправдать лестное для меня мнение Вашего Сиятельства. У меня будут повсюду глаза, уши и ловкие опытные молодцы, одинаково владеющие как боксом, так и браунингом. Но все же, не скрою, мы не гарантированы от сюрпризов. К нам в Пандурию с каждым днем просачиваются под разными псевдонимами и паспортами большевицкие агенты. Мы их вылавливаем на границе, вылавливаем на территории королевства... Но сколько ни вылавливай, они, эти негодяи, как клопы, плодятся. Я уже докладывал Вашему Сиятельству, что Третий Интернационал, имеющий свою штаб-квартиру и базу в Москве, особенно заинтересован коммунистическим переворотом в Пандурии. Для этого Зиновьев-Апфельбаум располагает крупной суммой, вырученной от продажи сокровищ императорской короны. Часть денег ловкий проходимец и жулик прикарманил, а часть...

Граф Видо закрыл лицо руками.

– Боже, до чего это противно и мерзко! И зачем я еще живу? Отчего я еще не умер? Лучше бы мне умереть несколько лет назад, умереть, когда король Адриан после войны въехал в Бокату и народ в безумном радостном исступлении, в энтузиазме падал на колени и целовал его стремя...

– Помню, помню, Ваше Сиятельство. Незабываемая картина... Я, как вы изволите сами знать, натура далеко не сентиментальная, не романтическая, но и я не мог удержать слез... Но я внесу маленькую поправку, маленькую... Народ – вы сказали. А я скажу – толпа... Но в том-то и вся трагическая загадка, что она, толпа, умеет быть с одинаковой легкостью, одинаковой экспансивностью и народом, целующим стремя вождя или монарха-освободителя, и чернью, способной через месяц, через год, – не все ли равно? – так же стихийно броситься и жечь, и грабить королевский дворец, и требовать голову своего монарха, монарха-победителя, национального героя... И так – всегда... Толпа всюду и везде одинакова... Мгновенно воспламеняется и гораздо чаще бывает буйной хулиганствующей чернью, нежели патриотическим народом. Первое гораздо легче и, кроме того, если даже честные, умные люди в толпе теряют голову и волю, глупеют, звереют, чего же требовать от тех, которые были и останутся подлецами и дураками?.. Если я расфилософствовался, прошу меня извинить... Я вот о чем хотел посоветоваться, вернее, спросить инструкцию Вашего Сиятельства. Сегодня был у меня с предложением своих услуг знаменитый русский террорист Савинков.

– А, этот... профессиональный убийца русских министров и великих князей, – поморщился Видо, – какое он произвел на вас впечатление?

– Внешне – безусловно понравился. Совсем не похож на этих грязных, лохматых русских революционеров. Он корректен и, я бы сказал, даже вылощен. Вылощен в речи, в манерах, в одежде, в белых выхоленных руках. Когда он курил в моем кабинете, я смотрел на его красивые пальцы и мне чудилась на них кровь. Смотрел на его ширококостый, упрямый, волчий лоб и на его львиный профиль.

– Любопытное сочетание, – заинтересовался Видо.

– Сочетание я бы сказал – символическое. Дерзок и смел, пожалуй, как лев, и кровожаден, как волк, и как волк, способен на подлость. Душа волчья! Если бы он не был предателем, если бы ему можно было верить, я без колебания взял бы его к себе в ближайшие помощники.

Но, во-первых, он может продать, а во-вторых, он слишком влюблен в себя, чтобы удовлетвориться маленькой ролью. В самом деле, господин этот мечтал сделаться мужицким царем в России, и вдруг – помощник шефа тайного кабинета в Пандурии...

– Однако же этот честолобец явился к вам.

– Да, потому что, как бы вам сказать, – выдохся! Уже ни французы, ни поляки, ни чехи – никто не дает ему больше денег на его политические авантюры. А деньги нужны. Последним отказал ему, – Савинков из Рима только что, – Муссолини... Вот он и разлетелся к нам попытать счастья.

– Что же он предлагает?

– Предлагает создать свою частную антибольшевицкую агентуру. В конце концов, и сам этот Савинков, и большевики – все же это крысы одного подполья... Многих большевиков-эmissаров, пользующихся нашим... нашим гостеприимством, – улыбнулся шеф тайного кабинета, – он знает лично. И я нахожу, если за ним следить в оба, он может быть полезен. До поры до времени и... постольку поскольку, – прибавил Бузни, – в случае же чего-нибудь, в случае двойной игры на оба фронта, его всегда можно арестовать или выслать за границу... Словом – обезвредить... Но не использовать его я считал бы...

– Попробуйте...

– На первое время он получит десять тысяч франков. А дальше будет видно по работе...

– Он приехал один?

– С любовницей и с ее мужем... Неразлучное трио.

– А как же обещанная им агентура? Где же его агенты?

– Кой-кого он выпишет, а кой-кого навербует из находящихся здесь русских. Итак, Ваше Сиятельство...

– Я же вам сказал, – попробуйте! Но следите за каждым его шагом.

– О, в этом отношении будьте спокойны...

В час дня шеф тайного кабинета завтракал у Рихсбахера с первым секретарем польской миссии. Этот молодой человек, немного манерный, немного томный, значительно пополнил сведения Артура Бузни о Савинкове.

Благодаря своей дружбе с Пилсудским, – их связывало революционное прошлое, – Савинков создал в Польше нечто подобное государству в государстве. У него были не только свои адъютанты, была не только своя контрразведка, но были даже свои «министры», свои генералы. И те, и другие часами дожидались в приемной, пока «властелин» соизволит их принять.

Савинков направо и налево швырял деньги, деньги польской государственной казны. Вся столица говорила о савинковских кутежах. Савинковские сбирь хватили неугодных своему господину русских офицеров и граждан, и те в двадцать четыре часа высылались за пределы Польши.

Самоуверенность Савинкова не знала границ. Однажды министерством иностранных дел перехвачено было письмо Савинкова, адресованное в Париж на имя «дедушки» русской революции Чайковского. В письме этом Савинков хвастался «дедушке», что идет со своим генералом Балаховичем на Москву и при одном имени его, Савинкова, встанет вся Россия, как один человек. Попутно в своем горделивом послании Савинков чернил Врангеля.

Поход на Москву оказался блефом. Дальше Мозыря и Пинска новый тушинский вор не продвинулся. В одном из этих городов благодарное население преподнесло ему еврейскую шубу.

Молча, с неустанно бегающими глазами, слушал все это Бузни. Потом спросил:

– А что-нибудь об его деятельности в России царского периода и тотчас же после революции? Предупреждаю, почти все террористические акты, совершенные им, известны мне...

– А известно Вашему Превосходительству, как он в Севастополе бросил бомбу в адмирала Неплюева?

– Об этом не слышал...

– Как же, это очень... очень интересно... Сам Неплюев остался жив и невредим, но бомба, чудовищной разрушительной силы, – это был парад возле церкви, – разорвалась в самой гуще выстроившихся воспитанниц епархиальной школы. В результате 98 жертв. Девочки в белых платьицах превращены были в какое-то кровавое месиво... Оторванные головы, руки, ноги застряли в листве деревьев, очутились на крышах соседних домов...

– Какой ужас, – проговорил Бузни.

– А дальше; уже в период революции, он присоединился к генералу Корнилову, чтобы раздавить Керенского, но, в конце концов, перебежал к Керенскому, чтобы раздавить Корнилова. Он привык играть чужими головами. Но ему не повезло на этот раз. Социалисты-революционеры выгнали его из своей партии, а Керенский выгнал из военных министров. Выгнал, хотя накануне этот же Савинков сделал большую ему услугу, предательски, через занавеску, застрелив доблестного генерала Крымова... Так говорили... в Петербурге.

В семь с половиной вечера Бузни обедал с Савинковым, тоже у Рихсбахера, но не в общем зале, а в кабинете.

Сверкал белоснежный воротничок. Сияли лакированные ботинки. Голова с волчьим лбом, переходившим в лысину, вымыта была душистой эссенцией. Вылощенные ногти. Вылощенный весь, самоуверенный, надменный. Но сквозь эти самоуверенность и надменность Бузни опытным полицейским глазом своим угадывал озабоченность Савинкова – дадут или не дадут ему несколько тысяч франков.

Бузни впервые наблюдал такого террориста. С иголки одет. Манеры надушенного бонвивана, знающего толк в кухне и винах. Смакуя, пил Савинков шамбертен, сетуя, что вино скорее теплое, чем холодное. Бузни, глядя на его белые, холеные руки, вспомнил Севастополь, вспомнил детские ножки и головы на крышах и на деревьях...

– Мы воспользуемся вашими... вашей опытностью... – пообещал шеф тайного кабинета, – завтра же вы получите обусловленную сумму...

Сквозь бесстрастную внешность революционера-денди угадывался, по-актерски проглоченный, вздох облегчения.

«А деньги тебе до зарезу нужны», – подумал Бузни.

Уже в конце обеда, в дыму сигар, Савинков сделал новое предложение.

– Располагай я крупными деньгами, я послал бы верных людей в Москву ликвидировать Троцкого и Зиновьева. Пока эти господа живы, не будет покоя в Европе, а, следовательно, и у вас, в Пандурии. У меня уже разработан план... Успех гарантирован... – и холодные, с твердым блеском, жестокие глаза нащупывающе уставились на собеседника.

– В принципе отчего же? Ничего не имею против, – пожал плечами Бузни, – но мы еще успеем вернуться к этому... Сначала я должен увидеть вашу работу здесь, на месте...

Савинков ничего не ответил, только чуть прикусил нижнюю губу. Этот «шеф» третирует его, как простого агента, и надо молчать, надо, потому что нужны деньги.

Давно ли он, Савинков, «учил» Мильерана, Ллойд Джорджа, Керзона, учил, как надо спасать Россию, и они его слушали, вернее, делали вид, что слушают. Так или иначе – давали деньги. А теперь этот шеф тайного кабинета в маленьком королевстве щелкнул его по самолюбию, и он вынужден молчать, стиснув зубы. И еще спрашивает:

– Какими духами вы душились?

– Английскими – «Шипр» Аткинсона, – должен был ответить Савинков...

Прекрасные дни Аранжуеца, где вы?

21. Кому радость, кому забота

Уже съехались гости.

Из Трансмонтании – принцесса Памела с братом-престолонаследником. Святейший отец послал от своего имени кардинала Звампу, архиепископа в Болонье. Кардинал Звампа считался одним из красивейших мужчин во всей Европе. Вместе с ним в качестве адъютанта приехал папский гвардеец маркиз делла Торетта, герцог ди Лампедуза. И своим гигантским ростом, и своим раззолоченным мундиром, и своей каской греко-римского типа, и своим громким двойным титулом он производил весьма внушительное впечатление.

Испания была представлена миниатюрным, бледным, женоподобным инфантом Луисом. Болгарский двор – князем Кириллом. От сербской династии Карагеоргиевичей – принц Павел. Из Бухареста прибыл румынский престолонаследник Кароль.

Виктора-Эммануила заменял герцог Абрुццкий, английского короля – принц Баттенбергский. От Франции – ее слава и гордость – маршал Фош.

Еще не наступил самый праздник, а настроение было уже праздничное. Оживилась и принарядилась столица, расцвеченная флагами.

С утра до вечера носились по всем направлениям дворцовые автомобили и экипажи, увозя, привозя и катая высочайших и титулованных гостей. И городская толпа как-то подтянулась. Мужчины и дамы, выходя на улицу, одевались, как в день собственных именин. Да каждый и сознавал себя именинником.

Церемониймейстер Двора, жеманный, потасканный маркиз Панджили, манерами своими напоминающий версальского петиметра, с ног сбился, не знал ни покоя, ни отдыха. Он делал визиты приезжим гостям, устраивал для них загородные прогулки, – окрестности Бокаты славились своей живописностью. Он обязан был помнить и помнить, у какого подъезда и к какому часу должен стоять автомобиль для принцессы Памелы, для маршала Фоша, для кардинала Звампы, для тех или других герцогов, князей, принцев и графов.

Но церемониймейстер был счастлив. Он чувствовал себя в своей родной стихии и об одном жалел, почему сутки имеют двадцать четыре часа, а не сорок восемь?..

Далеко не в таком блаженном упоении был шеф тайного кабинета. В глубине души он проклинал и этот юбилей, и этот съезд высочеств, светлостей, сиятельств, высокопревосходительств... Он был, как на раскаленных углях. Каждый стук в дверь кабинета, каждое появление секретаря, каждый телефонный звонок – все это бросало его в холод и жар.

Он знал, что темные подпольные силы собирались омрачить юбилей «террористическим актом». По самым последним агентурным сведениям, готовилось покушение на генералиссимуса Фоша. Этим думали зараз убить двух зайцев. Во-первых, уничтожить великого вождя французской армии, обезглавить ее, что было бы весьма на руку большевикам и немцам, а во-вторых, скомпрометировать Пандурию в глазах Франции.

Бузни до собственного изнеможения охранял особу маршала, и тем труднее это было, что сам Фош убедительно просил не заботиться об его охране.

Еле-еле хватало агентов, и в конце концов совсем не хватило. Волей-неволей Бузни должен был прибегнуть к содействию частного бюро детективов. А когда и этот резерв истощился, шеф «мобилизовал» Савинкова, а Савинков, в свою очередь, мобилизовал около двадцати безработных эмигрантов. Он их знал лично, и с ними в 1921 году пошел «на Москву».

Каждый по-своему был озабочен.

Министр изящных искусств, взявший на себя декоративное убранство парадных апартаментов, еще за неделю до праздников перебрался совсем во дворец.

Целая армия садовников, плотников и обойщиков подчинялась ему. Ни одна мелочь не ускользала от него. Он видел все артистическим глазом своим, хотя пил коньяк рюмку за

рюмкой и спал три-четыре часа в сутки, наспех прикорнувши на диване. Наиболее казенного вида гостиные Тунда превратил в уютные, очаровательные уголки с тропической зеленью. Фон для этой зелени – пышные складки богатых тканей и восточных ковров. Получались какие-то сказочные шатры сказочных мавританских калифов. Часть этих драпировок и тканей – боевая добыча воинственных пандуров в эпоху войн с турками, часть же – собственность самого Тунды, вывезенная им во время скитаний по Ближнему и Дальнему Востоку. Он разгромил на эти дни свою мастерскую, и все самое яркое, пышное, ласкающее глаз, снятое со стен, вынутое из сундуков – перекочевало во дворец.

Он поражал всех своей энергией, этот маленький старик с маленьким морщинистым лицом и с шапкой седых волос. Заметив, что обойщик без надлежащего вкуса собрал складки материи где-то высоко у потолка, Тунда сам быстро поднимался по лестнице и собственноручно, с молотком и гвоздями добивался необходимого эффекта.

Живой, как ртуть, с вечной сигарой в зубах, он успевал балагурить, острить, напевать шансонетки, успевал попотчевать коньяком угодивших ему драпировщиков, успевал подразнить чем-нибудь маркиза Панджили, успевал сказать ласковое слово пробежавшей мимо Поломбе, называя ее «крокодилкой».

– Ты куда бежишь, «крокодилка»?

Действительно, в белых редких и острых зубах камеристки Ее Величества было что-то крокодилье, особенно когда она улыбалась.

Непременной обязанностью маркиза Панджили как церемониймейстера было приготовить списки всех званных гостей. Сюда входили чины дипломатического корпуса, министры, сановники с их семьями, депутаты парламента, сенаторы, кое-кто из именитого купечества, делегаты округов и областей. Списки предлагались на утверждение Их Величеств, вернее – Ее Величества, ибо Адриан всецело предоставлял это матери.

Дон Исаак Абарбанель мучительно хотел попасть во дворец, но до сих пор для него были закрыты королевские двери. Он знал, что маркиз Панджили весь в долгах – и сам по себе расточитель и мот, и вдобавок еще супруг Мариулы, не знающей счета деньгам и несколько раз в год обновляющей в Париже и свои туалеты, и свою увядшую красоту.

Дон Исаак подъехал к маркизу. Вернее, даже не подъехал, а с цинизмом богача заявил:

– Господин церемониймейстер, я ассигновал на это дело пятьдесят тысяч франков. Половину сейчас, половину после бала...

Маркиз схватился за этот случай если и не поправить, то, во всяком случае, заштопать свои расстроенные финансы. Зная Маргарету, он был уверен, что она вычеркнула бы фамилию богатого парвеню-эспаниола. Но маркиз надеялся на одно лишь: королева просто-напросто не заметит Абарбанеля среди списков из 432 фамилий.

Но Панджили ошибся. Он задрожал и побледнел потасканным лицом своим. Карандаш Ее Величества задержался против имени дона Исаака. Одно движение магического карандаша, и маркиз будет ограблен. Прощай 25 тысяч! Да и за первые 25 придется унижительно отчитываться.

– Это что такое? – спросила королева.

– Это... Ваше Величество... Это дон Исаак Абарбанель...

– Ну, милый маркиз, это уж слишком! Его миллионы еще не дают ему права...

– Ваше Величество, это весьма достойный молодой человек, безгранично преданный династии: дон Исаак большой патриот. Во время войны он так много жертвовал... Ваше Величество соизволит вспомнить... Если Ваше Величество его вычеркнет, он... он готов на самоубийство. Да, да, он такой, я его знаю! – вдохновенно импровизировал церемониймейстер.

Королева поглядела на него с умной, пытливой улыбкой.

– Вы непременно хотите меня напугать. Я не имею основания сомневаться в его преданности нам, но сомневаюсь, чтобы он лишил себя жизни от огорчения. Скажите откровенно,

маркиз, вам очень хочется, чтобы этот ваш протеже несколько часов потолкался во дворце в день моего юбилея?

– Лично я не заинтересован ничуть... Но для достойных Вашего Величества подданных в этот счастливый, знаменательный день...

– Словом, я оставляю вам вашего Абарбанеля... – и карандаш, не задерживаясь, двинулся дальше.

Невыносимая тяжесть свалилась с плеч маркиза. Дон Исаак спасен, и вместе с ним спасены 25 тысяч.

22. Здесь внизу и там наверху

Несколько дней назад всего Адриан с гордостью любящего сына думал о пятидесятилетии своей неувядаемой и прекрасной матери. Он ждал этого дня, как ждут волнующего праздника, полного красок, движения, блеска, новых впечатлений и радостей.

И вот погасли краски, еще не успев загореться, погасли впечатления, еще не успев вспыхнуть, и казалось, что нет и не будет никакого движения, как нет и не будет новых людей, новых впечатлений и радостей.

И всему виной эта миниатюрная женщина с золотистым сиянием вокруг своей хорошенькой головки, с переменчивой игрой глаз, то синих, то голубых, то серых, и с капризной линией детского рта. Адриан встречался с Зитой на краю города на маленькой вилле, уютной и простой, павильонно-охотничьего стиля. Да и вправду, как охотничий домик, поднималась она острой крышей своей из глубины сада. Вилла эта, – гнездо их любви, – куплена была на имя королевского адъютанта Джунги.

В течение трех с лишним лет, изо дня в день считала Зита часы и минуты, когда будет вдвоем со своим возлюбленным на этой вилле... И вот уже два дня Зита не давала никаких признаков жизни. Впервые, впервые за весь долгий роман их король позвонил ей, позвонил в часы, когда муж бывает в министерстве.

Подошла Христа, верная Зите горничная.

– Христа, дома баронесса?..

– Дома, только не могут подойти к телефону. Нездоровы... Лежат...

Таков был ответ, но Адриан почему-то не поверил недомоганию Зиты. С чего это вдруг она заболела? Она, отличавшаяся исключительным здоровьем? Она, чутьем влюбленной женщины угадывавшая его телефон и ревниво поджидавшая в своем будуаре, когда затрещит маленький, из черного сверкающего металла аппарат, чтобы с так шибко забившимся сердцем прильнуть нежным, розовым ухом к трубке...

Это было в полдень, а в третьем часу, после завтрака, Адриан вместе с военным министром и Джунгой ехал на аэродром на испытание полученных из Франции новых аэропланов.

На полпути повстречался автомобиль, возвращавшийся в Бокату. Сидели в нем баронесса Рангя и грузный, упитанный молодой человек, низко и угодливо снявший шляпу шагов за двадцать, пока успели поравняться автомобили.

Вся кровь, кровь горячих Ираклидов, густо залила разгневанное лицо Адриана. Было ощущение смертельной обиды, смертельного оскорбления. Ему показалось, что военный министр подавил насмешливую улыбку, что усы Джунги как-то особенно зашевелились. Показалось, что даже шофер и выездной лакей в треуголке с петушиным плюмажем как-то многозначительно переглянулись.

И лишь когда после этой встречи оставили за собой полкилометра, вспомнил Адриан, кто такой спутник Зиты... Вспомнил его имя. Это банкир Абарбанель. Он оборудовал на свой счет во время войны большой госпиталь, и, когда король посетил раненых, этот Абарбанель представился ему вместе с врачами.

Овладев собой, Адриан обратился с каким-то вопросом к военному министру.

На аэродроме стай исполинских полуптиц, полунасекомых выстроена была эскадрилья новых аэропланов. Мощные моторы блестели на солнце.

Король поздоровался с летчиками: своими, пандурскими, в защитной коричневой форме, и с французскими, в небесного цвета мундирах. Они привезли аппараты и сдали их, сделав несколько пробных полетов. Сейчас будут еще испытания уже в присутствии Его Величества.

В том и ужас весь, что король непременно пожелает лететь.

Маргарета вызвала утром к себе военного министра.

– Генерал, вы сопроводите королю на аэродром?

– Так точно, Ваше Величество.

– Что эти... аппараты надежны?

– Вполне! Результаты вчерашних испытаний – выше всяких похвал...

– Но я все же не хотела бы... Он и так слишком много летал... Король не должен подвергать себя риску. Генерал, я надеюсь на вас...

– Ваше Величество, я сделаю все, что могу... Но в данном случае могу-то я очень мало. Король – единственный военный в стране, единственный, которому я не смею приказывать...

И надо было бы видеть растерянное, умоляюще-испуганное лицо военного министра, когда, невзирая на все его увещевания, король, сняв фуражку и надев кожаный шлем, сел в аппарат с лично ему известным капитаном-пилотом Дукато. Гигантская птица, сделав три плавных круга и поднявшись метров на 800, полетела к Бокате, все уменьшаясь и уменьшаясь.

Военный министр и все оставшиеся на аэродроме пережили беспокойных и неприятных сорок две минуты, ибо сорок две минуты продолжался полет Его Величества.

Люди воздуха, люди, летающие в заоблачных высях, – это уже не люди, а полубоги. Все оставшееся внизу кажется сверху таким ненастоящим, таким бездушно-игрушечным, жалким.

Природа, самая живописная, величественная, перестает быть природой, а стелется под ногами цветной рельефной географической картой.

Люди перестают быть людьми, превращаясь в насекомых, в оловянных солдатиков. И какая-то безграничная отчужденность создается у парящего в небесах полубога ко всему, что пришито к земле, будь это человек, дерево, будь это храм или музей, полный сокровищ.

Так и Адриан, оторвавшись от земли, почувствовал себя сверхчеловеком. Душа наполнилась не безразличием, нет, а какой-то ясной, безмятежной радостью олимпийских богов.

И трагическое там – внизу, здесь – вверху – чудилось ему пустяком, скорее смешным, чем досадным, эпизодом. Да и разве могло быть по-другому, иначе, когда все уменьшавшийся аэродром превратился в носовой платок и когда во время полета над Бокатой королевский дворец производил впечатление карточного домика, министерство путей сообщения, где жила Зита, чуть-чуть угадывалось и вообще вся столица походила на тот план ее, который мальчишки на улице продают за 20 сантимов.

Спуск лишь отчасти вернул Адриана к действительности. Там, на высоте 1000 метров, он забыл, что существует военный министр, а если и помнил, то как оловянную фигурку в два-три сантиметра. Сейчас же это было солдатское, блаженно-счастливое лицо в резких морщинах. Но Зита, Зита, как была в течение 42 минут кукольной фигуркой, так и осталась. Он ее не разлюбил, нет, он ее продолжал любить, но не как живую, а как мертвую. Она умерла для него. Умерла, хотя появление Зиты в автомобиле с этим Абарбанелем далеко еще не было изменой...

И после того как он лично украсил грудь четырех французских летчиков пандурским орденом, уже возвращаясь с аэродрома в столицу, король думал о том, что через два дня Зита, сделав реверанс, подойдет к его руке. Пусть. Этого не избежать, но он и не взглянет на нее, а если даже и взглянет, то как на чужое и чуждое существо...

23. В сетях провокации

А в его отсутствие произошло событие, едва не ставшее катастрофой, едва не омрачившее праздник. Маршал Фош завтракал во французской миссии. В третьем часу, когда, выйдя с адъютантом из посольства, он сел в автомобиль, два агента схватили субъекта, пытавшегося бросить бомбу. Агенты сделали это чрезвычайно ловко. Ни сам маршал, ни провожавший его французский посланник, ни чины миссии – никто ничего не заметил.

Оба агента, предотвратившие злодеяние, оказались агентами Савинкова. Бомбист оказался русским большевиком. Бомба, маленькая, карманная, оказалась снарядом большой разрушительной силы. По словам разряжавших ее артиллеристов, будь она брошена, не только ничего не осталось бы от маршала и его свиты, но и посольство, и весь прилегающий квартал – все взлетело бы на воздух.

Бузни лично допрашивал бомбиста, закованного в стальные наручники. Это был типичный дегенерат с перекошенным, асимметричным лицом, гнилыми зубами и с сильно развитой лобной костью с острыми надлобными дугами.

– Какие мотивы побудили вас на совершение этого акта? – спорил шеф тайного кабинета.

– Генерал Фош – враг пролетариата. Мы вынесли ему смертный приговор.

– Кто это – «мы»?

– Штаб Третьего Интернационала. Все дальнейшие вопросы бесполезны: я не скажу больше ни слова...

– Даже если за вашу словоохотливость вас не расстреляют?..

– Даже... Я шел на все... На самые жестокие пытки...

– Это у вас пытаются... У вас несчастная Россия – сплошной застенок.

Бомбист молчал. Ни одного звука нельзя было из него выжать.

Но Бузни, сделавший карьеру из небольших чиновников политического розыска, по личному опыту знал, что внешность преступника, его манеры держаться бывают обманчивы.

Корчит из себя этакое революционное, можно сказать, Муция Сцеволу, а прижечь ему хорошенько пятки – все выболтает и еще как. И виноватых, и правых – всех в одну кучу свалит!

Этому же гнилому слизняку довольно всыпать десяток – другой шомполов, чтобы язык у него развязался.

И всыпали. И уже на девятом ударе бомбист с окровавленной спиной покаялся в своих преступлениях. Назвал и свое настоящее имя, и полдюжины партийных кличек своих и выдал сообщников.

По горячим следам были произведены аресты. Кой-кого захватили, кое-кто, испуганный провалом покушения, успел бежать. Были даны телеграммы и в глубь королевства, и на границу с описанием примет беглецов.

Организация оказалась куда более серьезной и опасной, чем можно было предполагать. Обыски дали много компрометирующих документов, много взрывчатых веществ, оружия и много московских денег в хорошей валюте и золоте.

Как азартный игрок, ушел Бузни весь с головой в разматывание случаев подсунутого человеческого клубка, добираясь до его сердцевины.

Всю ночь допрашивал арестованных. К утру погас весь его румянец и, падая от изнеможения, прошел он в маленький интимный кабинет заснуть часок-другой на диване, пока доставят новую порцию сообщников бомбиста.

Разбитый физически, он ликовал. Во-первых, от профессиональной гордости, во-вторых же, от сознания, что после разгрома нельзя ожидать никаких сюрпризов на ближайших днях, и юбилей пройдет благополучно.

Не успел он вздремнуть, явился дежурный чиновник.

- Господин Савинков желает видеть Ваше Превосходительство по очень важному делу.
- Просите...

Великий террорист был синевато-бледен в сизой дымке осеннего рассвета. Это сообщало ему сходство с ожившим разгуливающим трупом.

– Я побеспокоил вас, господин шеф, вот по какому поводу. Сейчас вам доставят неких Черника и Садыкера. Предупреждаю вас, что это мои люди, только позавчера прибывшие из Чехии по-моему вызову.

- Да, но на них указал этот болван! – воскликнул Бузни.

– Еще бы не указать, – криво улыбнулся Савинков, – они же его и спровоцировали, а двое других моих людей помешали ему бросить бомбу.

- Значит, все это ваших рук дело...

– Моих, господин шеф, моих! Благодаря мне захвачена вся банда. Вы можете спокойно спать. Ну, что довольны вы моим первым дебютом?

- Очень. Хотя... вы знаете, этот путь... путь провокации...

– Скользкий путь, угодно вам сказать. Согласен с вами... Но такое уж это грязное дело, что без провокации и шагу не ступишь...

Светлые, холодные, как у мертвеца, застеклившиеся глаза человека с волчьим лбом встретились с карими, бегающими глазами шефа.

Глаза очень редко лгут. Слова же – почти всегда. Вот почему взглядами Савинков и Бузни сказали друг другу правду, в словах же были притворство и фальшь.

Бузни спросил:

- Какими духами вы душились?

- Всегда одни и те же. Английские духи «Шипр» Аткинсона, – ответил Савинков.

На самом же деле Бузни хотел сказать: «Однако, милый мой, хотя такие, как ты, революционные кондотьеры и могут принести пользу, но еще больше – вреда. Я не сомневаюсь, что за чудесное спасение Фоша и за раскрытие коммунистической шайки ты с меня сдерешь семь шкур и, во всяком случае, сделаешь изрядное кровопускание секретным фондам моего кабинета».

Савинков же хотел ему ответить: «Я тебе показал, что я могу и какая мне цена. Прошу это помнить... Моя шпага умеет разить с одинаковым искусством как направо, так и налево. Сегодня я играю одними головами, завтра другими...»

– «Шипр» Аткинсона... «Шипр» Аткинсона, – повторил Бузни. – Да, так вы говорите, что одного зовут Черником, другого – Садыкером? Я их для приличия задержу несколько часов и после тихонько освобожу. Это все?..

– Все, – губами ответил Савинков. Взгляд же его был понят шефом, как следует, по настоящему.

– Я смертельно измотался и просплю здесь до десяти, по крайней мере, а в 12 пожалуйста к Рихсбахеру, в тот же самый кабинет. Самая лучшая конспиративная квартира. Мы позавтракаем, и заодно я вручу вам аванс под вашу дальнейшую работу и награды вашим агентам, арестовавшим преступника.

Савинков ушел, оставив запах английских духов и впечатление синевато-бледного гальванизированного трупа.

Несколько минут шефу было не по себе. Савинков подействовал ему на нервы. Этот человек блеснул талантом своим подпольного провокатора, но, увы, нельзя на него положиться. Он далеко не из тех работников сыска, скромных, добросовестных, которые так нужны для дела. Нужно тихое ровное горение вместо ослепительных, мгновенно погасающих бенгальских огней, от которых ничего, кроме вони, копоти и чада, не остается. С этой мыслью шеф крепко уснул...

24. Перед высочайшим выходом

В декорированных профессором Тундой апартаментах собрались гости Их Величеств. Со времени покойного короля Бальтазара еще не было такого блестящего съезда. После войны это был первый большой прием.

Даже левые депутаты парламента, – кой-кого из них по политическим соображениям нельзя было не пригласить, – даже они, в своих новеньких, к этому дню сшитых, дурно сидящих фраках шептались между собой:

– Разумеется, все подобные торжества и балы, это – вопиющее преступление перед народом. Разумеется... Однако надо отдать справедливость, – эта буржуазная толпа имеет очень, очень импонирующий вид.

Сами же социалисты неловко чувствовали себя в этой «буржуазной толпе» и напускной демократической развязностью маскировали свое смущение, свою беспомощность, – куда девать лезущие из прицепных манжет ширококостые, плебейские руки, – плебейские, хотя некоторые обладатели их учились в заграничных университетах.

Самым непримиримым был невзрачный Мусманек, с лицом, которое забывается через пять минут, с «готовым» бантиком белого галстука, сползавшим в сторону. Вертевшийся вокруг самодовольного, одетого с адвокатским щегольством Шухтана, злой, жадный, завистливый Мусманек фыркал на все и на всех. Его возмущали туалеты и бриллианты придворных дам, их обнаженные плечи и руки, возмущали принцессы и принцы, возмущали изящные дипломаты, молодые гвардейцы, возмущало все красивое, изысканное, породистое, отмеченное вкусом и умением держаться, как дома, в этом Дворце, где сам строгий Мусманек был таким случайным, никому не нужным, никому не интересным гостем.

Тунда, во фраке уже не первой свежести, но отлично сидящем на его подвижной фигурке, с голубой лентой, с тремя звездами и несколькими цепочками, – на них, как брелоки, висели десятки миниатюрных орденов, – говорил кардиналу Звампе:

– Монархия – всегда монархия! Не так ли, монсеньор? Возьмем Пандурию. Небольшое королевство, бедный королевский Двор, а сколько живописного величия во всей этой картине! Мне случалось бывать на больших балах в Елисейском дворце у президента богатой и великодержавной Франции. То, да не то! Какая-то подделка, да и подделка второстепенная, не из важных. Здесь немного портит общее впечатление эта парламентская шушера с левых скамей... Но ничего не поделаешь. В наше время нельзя обойтись без взяток «его величеству хаму»...

Красавец кардинал, такой декоративный в своей пурпурной мантии, сочувственно улыбнулся.

– После того, как погибла Россия, вы, монсеньор, нигде такой гвардии не увидите, как у нас, – продолжал Тунда.

И вправду же, великолепны были эти гвардейские гусары в парадных белых, опушенных соболем и расшитых золотыми бранденбургами доломанах с леопардовой шкурой за плечами. Впечатление восточной феерии или балета производили офицеры мусульманских частей и королевского конвоя. Им одним полагалось оставаться в головных уборах, – частью высокие фески, частью белые тюрбаны и чалмы. Короткие красные и голубые мундиры, старинные дедовские, осыпанные драгоценными камнями сабли. Стройные, мускулистые фигуры, хищные, цепкие движения и бледно-матовые лица, черноусые мужественные лица султанских янычар.

А эти кирасиры в чешуйчатых доспехах и высоких ботфортах? Одна рука в перчатке до локтя держит массивную каску с пандурским орлом, другая опирается на гнутый эфес длинного, тяжелого, как рыцарский меч, палаша. Совсем ожившие рыцари, только что снятые оруженосцами со своих монументальных коней. Один из этих рыцарей – усатый гигант, скло-

нившись, как только мог, почтительно беседует с миниатюрной и хрупкой Зитой. Кирасир, закованный в чешуйчатое железо, и крохотная златоволосая фея кукол...

Не выдержал министр изящных искусств, художник победил сановника... Было раз навсегда приказано лакею в заднем кармане фрака оставлять небольшой альбом. Вынув альбом, забыв, что это придворный бал, хотя Их Величества еще не появлялись, забыв про собеседника своего в пурпурной мантии, – начал Тунда волшебным карандашом своим зарисовывать поразившую его своей удивительной контрастностью пару – изящную миниатюрную Зиту и ее кавалера – Исполина. Тунда не видел, не замечал вертевшихся возле этой пары господина Рангя, – твердый воротник мундира залил кровью левантийское лицо его, – и Абарбанеля. Этот тщеславный эспаниол, в первые минуты ног под собой не чужавший от прилившегося счастья, быстро уже как-то освоился, считая дворцовые апартаменты уже чуть ли не своими. Во всяком случае, его собственный дворец обставлен хотя и с гораздо меньшим вкусом, но зато и несравненно, неизмеримо богаче.

Белые двери белого концертного зала полуприкрыты. Два камер-лакея вежливо, с глубокими поклонами, однако же самым решительным образом не пропускают туда любопытных гостей. Там идут последние приготовления. Электротехники пробуют на сцене световые эффекты.

Чем ближе к девяти с половиной часовая стрелка, тем озабоченней становится маркиз Панджили и, глядя на него, как-то подтягивается вся эта нарядная толпа раззолоченных военных и гражданских мундиров, черных фраков со звездами, нежных точеных плеч, как из пены морской, выходящих из пены кружев и тюля. Блестят глаза, напряженной улыбки. У дам, а у мужчин серьезнее и строже лица. Запросто, без всякой свиты, выйдет король, а через четверть часа торжественный выход королевы с дочерью, с целым созвездием принцесс, принцев и знатнейших статс-дам и обер-гофмейстерин.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.